А. Шадрин

ЛИЗАВЕТА



Адихан Шадрин

ЛИЗАВЕТА

Повести





Нижне-Волжское
книжное издательство
Волгоград 1976

Шадрин А. И.

Ш16 Лизавета. Повести. Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976.

260 с.

Автор хорошо знает жизнь рыбаков Понизовья Волги. Он пишет о людях сильных, самобытных. В сборник вошли три повести, они разные по времени происходящих в них событий, но едины в одном — в любви писателя к родному краю, людям, которые его населяют.

Ш $\frac{70302-072}{М151(03)-76}$ **22—76** **Р2**

Лизавета





Поганое к чистому
не пристанет.

В. Даль.

Его не было уже почти две недели. Егор нервничал, но ни словом не обмолвился, таил свою тревогу от Лизаветы. А она места себе не находила — точила ее тоска-кручинушка.

...Нашли Семена на их родовом Кургановском стану. Он висел в землянке, под сосновой черной от копоти матицей. Желто-восковые пальцы босых ног едва касались мазаного земляного пола.

А в распахнутую дверь землянки со стороны заманихи доносились всплески рыб. В ветловом редколесье перекликались невидимые в листве иволги.

Вот так и закончилась вся эта нелегкая история. Впрочем, и не могло у нее быть иного конца.

1

На берегу сонной заманихи, у полусухой, источенной червями старой ветлы одиноко горбится камышовая землянушка. Чуть поодаль вешала для сетей. У самого яра заманихи, перед ветхим рыбачьим жильем, полыхает костер, а над ним в крутобоком прокопченном котле бугрится уха.

Рослая круглолицая женщина, простоволосая, с тугим кокулем скрученных на затылке русых кос, сидя на кортках, помешивает уху, пробует на вкус и добавляет крупной серой соли.

Золотые завитушки волос кучерявятся над высоким открытым лбом. В больших голубых глазах — удивление и радость. На левой щеке, над розовыми пухлыми губами, крохотная горошина родинки.

Сзади, стараясь быть неслышным, к женщине крадется здоровенный плечистый мужчина. Он озорно и беззвучно смеется, затем сильными руками обхватывает ее и опрокидывает на молодой сочный кундрак.

— Пусти, Сень...— она стыдливо отстраняет от груди широкую мужнину ладонь и, вдруг изловчившись, сбрасывает его с себя.

Семен, не ожидавший от жены такой прыти, неуклюже ткнулся лицом в холодную зелень. Потирая ушибленный хрящеватый нос, проворчал недовольно:

— Тебе, Лизавета, в цирке с медведями выступать, не иначе...

— Жеребец рыжий,— беззлобно укорила она мужа.— Вымахал в косую сажень, а разум что у дитя. Вон Егор Кузьмич едет, его бы постыдился.— Лиза-

вета скручивает на затылке сбившуюся косу и круто согнутым роговым гребешком прихватывает ее конец.

Семен блаженно улыбается и сквозь сплетения камышовых стеблей смотрит на реку. В полуверсте от стана под вялым парусом еле тащится Егорова бударка. Сам Егор сидит за рулем, а Настя, жена его, распласталась на закрое — спит, знать.

— В самый раз вернулись,— одобрительно говорит Семен.— Похлебаем ушицы, да и на приемку.

Лизавета бросила на смятую траву кусок потрескавшейся выцветшей клеенки, загремела чашками и ложками.

С обедом сегодня запоздали — только что вернулись с вентерей. Обычно они в две бударки работают, но вчера Егор с Настей уехали в село, и пришлось Семену с Лизаветой ворошить вентеря вдвоем. Оттого и задержка вышла.

— Здорово, братка.— Семен подскочил к бударке и принял чалку. Потом они вместе с угрюмо молчавшим Егором скатали парус. И тут Семен приметил: у костра, ткнув кончик косынки под нос, Настя о чем-то рассказывает Лизавете. Та, бледная, широко распахнутыми глазами смотрит на сноshенницу и трет ладонями влажные щеки.

— Это чё они? — вмиг присмирев, спросил Семен.

— На кума похоронка пришла.

— Дык, как же это... а?

— А вот так! — жестко отозвался Егор и сердито посмотрел на брательника, что, мол, за глупый вопрос.— Года еще нет войне, а одиннадцатого мужика теряем. И конца не видать, войне-то... О-хо-хо! Какой мужик был — кум-то, а?

— Прошлой весной, в майский праздник, тут на стану собирались,— вспоминая как о чем-то далеком-

далеком, сказал Семен.— Любил он тебя, братка.

— Мы ж годки с ним. И свадьбу в одно лето сыграли. Кума сама не своя. Настасея всю ночь с ней промаялась. А тут еще от племяша ее ни слуху ни духу. В Севастополе он, девятый месяц как в окружении.

Обедали молча, нехотя. Настя и совсем не притронулась к еде. Когда Лизавета разлила в эмалированные кружки круто заваренный чай, Семен, мелко отхлебывая горячую жидкость, сказал:

— Нехорошо дело оборачивается.

Егор выждал малость, потом, покосившись на брательника, спросил:

— Ты чё?

— Перед людьми, говорю, стыдно.

— Сень! — просительно вскинулась Лизавета, догадываясь, о чем говорит муж.— Ты разве виноват? Или дядя Егор, к примеру...

— Перестань, Лизавета,— строго одернул ее Егор. И Семену: — Не спеши, успеется. Не одним годом дело пахнет. От Москвы отпихнули, так он югом на Дон лезет. Саранча будто, зараза. Куда допер, паразит! Надо еще остановить, морду набить да выпроводить... И твой черед придет, и мой...

— Когда это будет? — не унимался Семен.— Не могу солдаткам в глаза глядеть. Кум вон твой один в семье, а сгиб. Трое остались, один другого меньше.

— Цыц! — вспыхнул Егор и снизу вверх посмотрел на брательника.— Раскукарекался... Иди вон, бударку готовь. На приемку пора. Или рыбу решил протушить...

Семен не приучен возражать брату, потому как Егор для него заместо отца и матери. Даже после женитьбы, выделившись в свое хозяйство, он почи-

тал брата, по-прежнему рыбачил с Егором. А с нынешней, первой военной весны — на двух бударках, вместе с женами.

Когда Семен приготовил все нужное, позвал с лодки:

— Поехали, братка.

Егор почти всю дорогу молчал. Бударка, подгоняемая двумя шестами, бежала ходко. О борта шуршали сухие стебли прошлогоднего камыша, пенилась холодная майская вода за кормой.

Когда из-за острова показалось заякоренное приемное судно, Егор, малость поостыв, сказал:

— Ты лучше молчи об этом... Не береди душу. Сам понимаю, что несправедливо, да что тут поделаешь.— И доверительно: — Говорят, будто скоро бронь снимут кое с кого. Сасан сказывал...

— Кто?

— Сасан. Он теперь председатель. Так вот, в раёне будто про бронь разговор был. Оно к тому идет — время тревожное. Вот я ему, Сасану-то, и намекнул, чтоб нас имел в виду. Ты бабам — ни-ни... Раскудахтаются — на всем взморье тихого места не сыщешь.

2

К тридцати годам Настя народила Егору четырех девок. Все они, будто сговорившись, подрастая, принимали обличье матери: худенькие, остролицые, с цыганскими черными волосами и большими, столь же темными озорными глазами. Когда-то за все это, и особенно же за озорство в Настиных глазах, Егор приметил, а затем и посватал свою суженую. Но вот теперь эти удивительно схожие шаловливые взгляды дочерей раздражали отца. Он со вздохом отвора-

чивался. Его огорчало, что в детях нет ничего от него, Егора.

И очень сожалел, что не было у него сына. Егор был уверен, что сын непременно народился бы в Кургановых: в их роду все один к одному, ростом — не особо велики, зато крепыши. Маштаками зовут, еще с деда кличка прилипла. Один только Семен наперекосяк пошел — каланча каланчой.

Когда Егору сообщили о четвертой дочке, он упавшим до хрипоты голосом сказал:

— Ну и ладно. Одним зятем больше будет.

А про себя чертыхнулся и очень шибко осерчал на жену. Посоветовал ей:

— Ты, Настасея, того... Завязывай, раз у тебя там ни одному парню места не нашлось.

И все же в глубине его души тлела надежда и спустя год он попросил:

— Можа спытаем счастье, а? Не одним же вертихвосткам на свет божий являться...

— Егор, как язык поворачивается...— взмолилась Настя.

— Дык, к слову это я. Должон же, наконец...

Кто должен, кому должен — Егор недоговорил по той простой причине, что и сам не знал. Должников, как и следовало ожидать, не оказалось, и Егору Курганову волей-неволей пришлось смириться с фактом, что в будущем у него будет уже не четыре, а пять зятьев.

Лизавета попросила тогда:

— Октябрить будешь — возьми меня кумой, Насть. Крестницей мне будет меньшая твоя.

— Ты сама тяжелая, нельзя.

— Почему?

— Кума на сносях если, крестник не жилец. Еще бабка моя так сказывала...

— И ты веришь? — удивилась Лизавета.

— Верь не верь, а спокойней как-то... А хошь кумиться — позовешь, когда родишь. Я к тому времени опростаюсь.

— Боюсь я, Насть.

— Кто не раживал, тому страшно видится.. Обойдется.

Повезло Семену. Лизаветин первенец оказался мужиком. В честь деда по материнской линии его назвали Василием. Густым баском средь ночи он будил не только отца с матерью. Заслышав плач (избу Семену братья поставили рядом, на месте полуразвалившейся Лизаветиной мазанки), Егор, почесывая бок, топал под брательниковы окна и стучал в ставни.

— Дрыхнете, черти? Ты, Лизавета, мотри. Головой отвечаешь за Васятку.

Васятку баловали. С утра Егоровы девки брали его к себе, и дотемна он переходил с рук на руки. Даже кормить — и то Лизавете приходилось не в своей горенке, а у Насти.

К восьми годам из него вырос баловень. Егор, бывало, выговаривает Семену:

— Ты что же, аль обессилел? Еще бы мальчонку. Одно дитё — не дитё, мамкин сынок.

— Сами балуете,— оправдывался Семен, но тут же обещался: — Ничё, вышколю я его. Семилетку пройдет — возьму на бударку. Ловецкое дело — оно баловать не даст.

— Эх, дурень,— возмущался Егор.— Да мы из Васятки профессора иделаем.

Нынешней весной и Васятка, и весь Настин выводок остались под присмотром Варьки — старшей дочери, очень расторопной и хозяйственной.

— Не такое время, чтоб у печи сидьмя сидеть,—

порешил Егор.— Присмотрят друг за дружкой. Нас с Сенькой потому и оставили по броне, что лучше иных умеем рыбку ловить. Вот и давайте, раз так, Кургановскую фамилию не ронять. Свое звено сколотим, да и... раз велено тыл крепить.

В первые путинные дни и Настя, и Лизавета, вспоминая о детях, больше охали да ахали, нежели помогали мужьям. Егор серчал, а Семен подсмеивался над ними, выдумывал всякие небылицы, вроде того, мол, спалят огольцы двор начисто; или: вот увидите — на днях, если лодку не найдут, всей оравой пешим ходом через камыши на стан, как пить дать, привалят.

Каждую субботу Егор с Настей или Семен с Лизаветой наезжали домой. Пока мужчины копошились по хозяйству, наведывались в правление колхоза и получали в магазине продукты по ловецким рулонам, жены мыли все семейство в бане, стирали гору белья. Не зря говорят, что поганое корыто самое счастливое: не успеешь глазом моргнуть — бугор тряпья скопится.

И снова оставляли детей одних до будущей субботы, строго-настрого наказав, по скольку давать каждому хлеба и что готовить на завтрак, обед и ужин.

Сегодня, как только братья отчалили на приемку, Лизавета, огорошенная печальным известием и еще не успевшая порасспросить о сынишке, поинтересовалась:

— Как они там, Насть, Васятка мой?

— Ой, и не говори. Живого места нет. Еле отмыла-отстирала.

Лизавета пригорюнилась:

— Брошу я все и уеду.

— Егор те уедет,— постращала Настя.

Егора побаивались. И слова сношенницы отрезвили Лизавету.

— Брось-ка ты горевать, Лизка. Васятке, скажу я те, это даже на пользу. Варьку слушается. Куда капризы подевались... Заботливый этакий стал. Чурок на самовар целый ящик наколол. А как баньку собралась истопить, так он камыш с задов таскал, никому не дозволял. За мужика в доме. А ты в слезы.— Настя, рассказывая, и сама не переставала тыкать в глаза уголок платка. Потом, вспомнив что-то, усмехнулась сквозь слезы.

— Ты чего? — удивилась Лизавета.

— Солдатам посылки в школе собирали. Так Васятка что, пострел, учудил. Семеновы рукавицы меховые да шапку отнес.

— От, окаянный,— всплеснула руками Лизавета.

— Ладно те жалеть,— попрекнула ее сношенница.

— Да и не жалко мне,— начала оправдываться Лизавета.— Вольный слишком, Васятка-то. Намаюсь я с ним, наплачусь.

— Сами же и приучили. Ну да обладится, подрастет — поумнеет. Ты, пока в плавлавке ушанки есть, запасись, да и на руки потеплей что. Зима в этих камышах мачехой покажется.

— Зимой мы тоже будем тут аль мужчины только?

— Как Егор скажет. Господи, скорей бы уж закончилась война эта. Как подумаю, что и Егора мово возьмут, в сердце холод. Пятеро ртов-то, пятеро!

И Лизавета, как и любая жена, боялась за своего мужа. Семен только с виду рослый да мужикастый. Душой он мягкий. Останется с ней один на один — дите, да и только. Лишь бы ему подурачиться, похохотать. А то — фантазировать при-

мется. Однажды, хорошо получив при расчете, предложил:

— Купим билет до Владивостока, а?

— К чему бы это? — удивилась Лизавета.

— Обязательно тебе — к чему. А просто так. Прокатимся туда и обратно. Целый месяц в окно будем смотреть. Лесов сколько увидим! Плохо разве?

Позапрошлым летом, в запретную пору, когда все рыбаки вернулись домой, Лизавета, зайдя в сарай, увидела: Семен мастерил самодельные лыжи. Вначале она и не поняла, чем он занимается.

— Или баурину так гладко отстругал? — полюбопытствовала она.

— Сама ты баурина,— рассердился Семен.— Не можешь лыжи от жердины отличить?

— Так у нас и снегов-то не бывает. На что тебе эти палки?.

— Будут. Хоть денек-другой, а попробую. Очень уж, Лизавета, занятно. В кино смотрю когда, аж завидно.

И всегда он вот такой: большой ребенок, да и только. Жизни-то трудной и не видел. Хоть и рос без отца-матери, да Егор оберегал его. Ни нужды, ни горести Семен не испытал. И по сегодня старший брат что тяжелей на свои плечи кладет, оберегает младшего.

Обо всем этом подумала Лизавета, когда Настя насчет Егора пожалковала. И сама запечалилась, но не вслух, а про себя. Да и постеснялась сказать-то. Разве сравнить себя с Настей: у ней орава, да и Егору пятый десяток. Какой уж солдат из него. Но и за мужа сердце ныло: неприспособленный он, нигде-то, кроме своего Морянного, не был, ничего-то не видел.

3

Промышляют братья Кургановы на реке Маракаськиной. Трудно сказать даже — река это или не река. Если спускаться по ней вниз, к морю, с правой руки шепчутся дремучие камышовые крепи, а слева и признаков берега нет — широкий култук прижался к реке. Человек новый, естественно, не будет искать бороздины у камышовой стены, где невидимкой петляет приглубь, а непременно направит лодку на ширь ильменную, да тут и наскочит на ракушчатые шалыги.

Ниже по течению, у леса, река, словно избавившись от неприятного соседства с култучной отмелью, озорным крутоярым рукавчиком скрывается средь корявых низкорослых ветел. И только через две-три версты разливается в широкую спокойную реку, да так и струится не спеша, извивно, меж яров, поросших чаканом, ветлой да белотравом, до самого моря Каспия.

Там, где Маракаськина отрывается от култука, справа, средь зарослей, затаилась узкая с крутыми изгибами заманиха. Берег зеркалится в тихой воде, потому что ветра тут никакого нет, сухостоя внутри гривы навалом. Лучшего места для стана и не подыскать. Потому-то Кургановы много лет назад облюбовали эту глухомань. И, главное, все под рукой: приемка, река, култук, где и весной и осенью, да и в зимнюю стужу скрытые полуметровым льдом насторожены сети да немудреные, но уловистые ловушки-вентеря.

Раньше всех, как обычно, проснулся Егор — еще затемно. Полулежа бесшумно послюнявил самокрутку, чиркнул спичкой, и от этого негромкого, но резкого шороха открыла глаза Настя. Она не удиви-

лась, что Егору уже не спится, однако попросила:

— Отдохни малость, развиднеется — встанем.

— Спи,— шепотом отозвался Егор.— И ребятенки еще дрыхнут.

Ребятенки — это Семен с Лизаветой. Их Егор будит, когда и лодка приготовлена и чаек Настя вскипятит.

Не спеша, глубокими затяжками он выкурил толстую, в палец, закрутку и только после этого неслышно вышел из землянки.

Светало. Дремотно склонились над заманихой камыш и ветла. Воду обложило туманом, да таким густым — хоть веслом греби. В ветвях запутались две иволги. Егор присмотрелся и увидел одну: желтая подпалина под брюшком мелькнула и скрылась за камышком. Звонкие с переливами их голоса, казалось, наполнили весь остров и всю заманиху.

Подойдя к берегу, Егор огорчился: за ночь вода приметно поднялась и не сегодня-завтра землянку затопит. Придется спать в бударках. Но не это встревожило рыбака. Дело-то привычное, иной раз, на взморье когда выезжают, по месяцу и больше на землю не сходят. Лодка — и рабочее место ловца, и дом.

Волновался Егор по другой причине. Прибылая вода топит острова, а рыба весной того только и ждет: уходит из холодной речной подсвежки в полои на икромет. Ничего неожиданного в нынешней большой воде нет. Ее ждали — зима в верховьях Волги была снежной. Даже тут, в низовьях, сугробы под крышу наметало. И все же Егор озабочен: уловов больших теперь не жди — через неделю, от силы десяток дней в реке не останется ни рыбины.

Невесело размышляя, он забрался в лодку. Под мостками набралась вода, и он деревянной плицей

начал выплескивать ее за борт. Плица мягко скребет о днище лодки, всплескивается вода в речушке.

От землянки потянуло сырым дымком. Оглянувшись, Егор увидел Настю. Она развела костер и шла к бережку за водой.

Когда Егор управился с делами и спрыгнул на берег, бударка, освободившись от тяжести, резко качнулась, и по заманихе разбежались круги.

— Буди ребят-то,— сказала Настя, когда муж подошел к костру.

— Чё их тормошить,— присаживаясь рядом с женой, ответил он.— Они и сами дымок учуяли...

Настя покосилась на землянку. В дверном проеме, сладко потягиваясь, стоял Семен, а из-под его руки, чуть пригнувшись, выглядывала Лизавета.

Выехали в култуки до восхода солнца. У камышовых колков безбоязно, свычные с присутствием людей, плавали угольно-черные лысухи. В верхнем конце култука загоготали гуси, но тоже не взлетели, а, лишь неторопко озираясь, уплыли в заросли — там они свили гнезда.

Егор с Настей свернули к лесу, а молодые погнали бударку в дальний угол култука, где поселились гуси.

Когда подъехали к вентерям, Семен, указывая рукой на камышовую кулижку, сказал:

— В том колке гнезда.

— Ты откуда знаешь? — полюбопытствовала Лизавета.

— Прошлый раз с браткой подъехали к нему, а гусыня ка-ак загогочет и поднялась на крыло прямо из колка. Затаилась и сидела, а опосля-то и не выдержала.

— Гнездо видели?

— А то... Скоро птенцы будут.

— Скажешь! —не поверила Лизавета.— Холодно еще.

— Самое времечко. Они, гуси-то, иной раз по льду гнезда вьют...— Вдруг, как это часто бывает, Семена осенила мысль. Широко раскрытыми глазами он посмотрел на жену и сказал: — Давай, Лизавета, гусята когда появятся, поймаем пару, а?

— На что они тебе? Нешто Васятке... да жалко.

— Разводить будем.

— Так они и прижились! Все равно улетят.

— А мы их в закуток.

— Будет городить-то что не положено,— рассердилась Лизавета.—Поднимай вентерь, хватит стоять.

— Э-э... всегда ты так. Нет чтоб почувствовать, тебе только бы командовать: ать-два! Комиссар...— Семен обиженно махнул рукой. Надев прорезиненный передник, вытянул из воды кол и потянул на себя вентерь. И вмиг тишина нарушилась всплесками рыб. Из вентеря ударили фонтаны брызг, окатили ловца. По переднику, отражая солнце, заструилась вода. Семен рукавом смахнул с лица брызги и вывалил рыбу в кормовой ящик. Бронзовые черноспинные сазаны вперемежку с крупными бело-серыми лещами затрепыхали в лодке, судорожно выстукивая дробь о днище влажными липкими махалками.

— Отойди-ка,— попросил Семен.

Лизавета привычным движением отвернула корму бударки, а он, натянув вентерь, глубоко вогнал кол в податливое илистое дно култука.

Подъезжая к следующему вентерю, Лизавета сказала:

— Тишь-то какая. Травинка не шелохнется. А там...— она не стала уточнять где, Семен и без того понял жену,— там ад будто. Кино в прошлый раз показывали, помнишь? Я уж думала небо рушится.

Дым, огонь, а грохоту-то не дай бог сколько. И как там люди в живых остаются. Страшно, поди, Сень, а?

Семен не отозвался. И женины слова, и тишина эта, и ярко-зеленый лес, и низкое, еще не дозревшее солнце над ним — все сейчас угнетало, давило, упрекало Семена. И он, в который уже раз, подумал, что пора с этим кончать. Здесь вместо него и Лизавета поработает, эка невидаль — рыбу ловить. Но вспомнилось: намедни ходили мужики в район, их даже слушать не стали. Велено ждать и, как выразился военком, ловить рыбу за десятерых.

Молчание мужа наводило на Лизавету страх, ибо она понимала, о чем его думки. Едва она представляла Семена в том пекле, который видела на экране, по спине пробегали холодные мурашки. И она посожалела, что своими неуместными словами вновь вернула его к беспокойным и нерадостным мыслям.

4

На следующее утро запасмурнело. Еще с вечера, обещая непогодь, на теплых полоях разразился лягушачий концерт, а ночью дыхнула моряна, нагнала низкие оплывшие тучи. Она же создала на взморье подпор, отчего верховая вода не уходила в море, а хлынула через берега рек, затопляя все новые и новые острова.

За одну ночь уловы сократились почти наполовину. К полудню, когда обе бударки причалили к стану, Егор озабоченно заглянул в трюм Семеновой лодки, недовольно покачал головой.

— Н-да... вот те и «ловите за десятерых».

— Глядишь, и прибавит завтра,— бодрилась Лизавета.— Правда, Сень?

Семен, не желая обижать жену, пожал плечами и промолчал.

— Догонят и еще добавят... Землянушка, вишь, совсем подплывает, а тут еще заветрило не ко времени.— Егор выбрал два яловых сазана и кинул их в корму. — Заваривай, Настасья.

Настя потянулась за ножом, но Лизавета опередила ее.

— Я сама.— И наклонилась над рыбой.— Жирные сазаны-то, не продуешь уху...

После ухи и чаепития, собираясь на приемку, Егор спросил Семена:

— Мож, режаками сплывем?

— Как скажешь,— безразлично ответил тот, думая о чем-то своем.

— Какой ты...— недовольно пробурчал Егор.

Лизавета с тревогой обернулась к мужикам и сердито зыркнула глазами на мужа: всегда вот он такой — мальчишка чуть ли не в тридцать лет. Посочувствовала Егору:

— Слова попусту тратишь.

— Понесла...— лениво отозвался Семен.

Лизавета, чтоб позлить мужа, сказала:

— С бабами посоветоваться, и то проку больше.

Егор, недовольный тем, что Лизавета встревает в мужской разговор, перебил:

— Вот что, бабы, оставайтесь-ка на стану да посмотрите плавнушку. Можа, где рвань али грузила, поплавки пообрывались. Завтра с утра на одной лодке вентеря поднимать, на второй — режаком спробуем. На Сумнице краснуха должна быть, она на полои не прет — вода большая ей безразлична.— И взгромоздился на лодку.

Безучастие брательника неприятно покоробило его. Нет, со стороны Семена это было даже не равноду-

шие, а скорее всего с годами выработанное послушание старшему, которое в конце концов оборачивается безответностью, смирением и безволием. А пора бы уж иметь характер.

Егору в общем-то нравилось, что Семен не выходит из повиновения, почитает его, не прекословит. Этот семейный лад меж братьями не раз ставился в пример соседями и сельчанами. И Кургановы даже гордились своей крепкой мужской дружбой.

Обычно после женитьбы меж братьями словно черная кошка пробегает. Но у Кургановых и тут славно сложилось. Больше того, даже Лизавета охотно признала старшинство и Егора и Насти.

Но сегодня, когда Егор искал и нашел выход из затруднения, ему хотелось, чтоб Семен поддержал его, но тот безразлично отмахнулся. И это не понравилось старшему.

А под вечер, возвращаясь с приемки, Семен еще раз огорчил Егора.

Моряна к тому времени приутомилась и едва шелестела камышовыми махалками да верхушками осокорей. Небо очистилось от туч, изнуренное солнце висело над гривой, вот-вот готовое уйти на покой. Рыбаки устали и, предвкушая отдых, не спеша и молча гнали лодку к стану.

И тут услышали, как с подмытого яра что-то плюхнулось в воду — будто земля обвалилась. Обернулись разом и увидели: впереди бударки, поперек речушки, отфыркиваясь и поводя ушами, плыл кабан. Над водой чернела ушастая голова да фарфорово отсвечивал серпом загнутый острый клык.

Семена словно подменили: куда подевалась усталость и обычная для него медлительность. Он уперся грудью в таловый шест и погнал бударку наперерез зверю.

— Давай, братка,— подзадоривал он Егора и, пробежав от кормы к носу лодки, опускал шест до дна и всей своей тяжестью наваливался на тальник.

Егор поначалу тоже впал в азарт погони. Поторапливаемый озорными окриками брата, он налег на шест. Расстояние между людьми и кабаном быстро сокращалось, и, когда до него осталось шагов пять-шесть, Семен, изготовившись, встал на носовой обруб.

— Еще немного, братка,— повизгивая, сорвавшимся голосом попросил он и обернулся к брату.

Егор увидел искаженное жадностью лицо, колкие черные глаза и остановился пораженный.

— Ну гони, гони! — задыхаясь, закричал Семен. Поняв, что Егор ему не помощник, он попытался догнать зверя сам. И уже приблизился к нему, взмахнул тяжелым тальником, чтоб опустить на голову секача. Егор помешал ему: отвернул лодку, да так неожиданно и резко, что Семен едва удержался на ногах.

Кабан, почуяв под ногами речную отмель, выбросил сильное мускулистое тело на оплывший яр и, ломая крепь, кинулся в глубь острова.

— На солонцы подался,— скрывая неприятное, тихо сказал Егор.

— Ты зачем... помешал? — сердито спросил Семен.

— Пущай живет. Запрет же, дурная твоя голова,— упрекнул Егор.

— Там людей бьют, а ты... запрет!

— А ежели война, так уж все можно? Экий ты... Что мы — с голоду пухнем? Хлеба, хучь и малую норму, выдают. Рыбы вволю... Да и кака это охота? Зверь, почитай, в беде: топит острова. Вся живность спасения ищет, а ее бей — так? Осень придет, бери

ружье и стреляй. Корми детей мясом — слова поперек не услышишь.— Спокойствие оставляло Егора, и он начинал сердиться. А потому и говорил громче обычного.— Ты вот про войну молвил. А и на войне законы соблюдают: бьют только врага. Безоружного — рука не подымается. Пленных, думаешь, кормим от избытка харчей?

— Мы-то кормим, да вот над нашими измываются...

— А я те про людей толкую. А то — фашисты...— Он вконец осерчал на непонятливость братьльника.— Хватит об этом. Дал коли промашку, так и не рыпайся.

5

Мужики уехали на Сумницу. Поначалу Егор хотел взять с собой Настю, но прикинул и оставил женщин вентеря поднимать: уловы невелики, управятся. А Сумница — своенравна. Дашь плав, а обратно чуть ли не версту надо подниматься на́ воду. За день десяток, если не поболее, плавов сделаешь. Бечевой не потянешь лодку: берега — крепь сплошная, только кабану под силу проломиться. У крутояров приглубь — шесты не маячат. Вся надежда на весла. А их понянчишь коли денек, к вечеру руки отвалятся. Попеременку с Семеном — куда ни шло, а бабы на такое дело слабаки.

— Сколь успеете, то и ладно,— говорил Егор женщинам.

И Настя и Лизавета понимают: Егор к слову это молвил, их жалеючи. А поворошить непременно надо все вентеря. Иначе и резону нет мужикам на стороне прилов искать. Но Настя, тоже для успокоения мужа, будто невзначай, роняет:

— А ты думал: животы будем надрывать?

С тем и разъехались.

До вентерей обе шестами совались: ходят взад-вперед по люкам, в руках ошкуренные и выдержанные в тени тальники. Со стороны поглядеть — мужики мужиками. Обе в мужниных штанах, поверх фланелевых блузок — телогрейки-безрукавки, на ногах — сапоги. И только головы повязаны платками.

Первый же вентерь порадовал рыбачек. Лизавета с трудом подняла его в лодку, развязала котец и вытрусила рыбу.

— Вот подивятся мужики, если полну бударку нальем,— стирая брызги с лица, сказала она.

— Куда там, хоть бы со вчерашнее набрать.

Настя словно в воду глядела. К полудню половину вентерей объехали, а уловом и кормовой ящик не наполнился.

— Ничё! — успокаивала Настя.— Мужикам, глядишь, подфартит. На Сумнице красненькая ежелетно водится. В позапрошлом годе, в эту саму пору, с Егором таких сетров набагрили — страсть божья...

— Икорки бы свеженькой спробовать.

— Отчего не иделать? — охотно отозвалась Настя.— Грохотка есть. Пробьем да и усолим. Полчаса и делов-то. Лишь бы закуканили брюхатую. Ребятенкам попробовать тоже надо. Варька — так та помирает по икре черной. С пеленок. Бывало, вместо манной каши ложками ухлыстывала... В верхний угол поедем?

— Ага,— Лизавета сбросила с себя одеревеневший передник, взялась за шест и шагнула с кормы на люк. Да нечаянно ступила на осклизлую сазанью чешую и, ойкнув, повалилась за борт.

— Ой, мать моя,— запричитала Настя.— Да как же тебя угораздило?

— Шест дай,— попросила Лизавета, удерживаясь на воде.

— Хватай! — наконец опомнилась Настя и, сунув ей конец шеста, подтянула потерпевшую к лодке.

А на ту смех напал. В первый миг вода обожгла тело холодом, но вынырнула, и все, кажется, обошлось. Засмеялась над Настей — настолько та растерялась, что и рукой двинуть не могла.

— Хохочешь, холера,— ласково поругивала Настя сношенницу и помогала той выбраться на лодку.— Ладно, что не в дальнем конце култука. Тута хоть кош под боком. В момент доскачем.— И, развернув лодку, погнала к заманихе.— Ты не сиди, бери шест-то. Сугреешься, и простуда отчалит. Мы счас чаек вскипятим, попаришь нутро.

— А как же вентеря, Насть?

— Чайком побалуемся, тогда и подымемся в верхний конец, а там и приемка — рукой подать. Мужики-то уставшие вернутся. До приемки ли им будет!

Едва бударка ткнулась носовым пнем в бережок, Лизавета ускакала в землянку. Настя засеменила следом. И пока младшая сбрасывала с себя мокрое, та рылась в самодельном фанерном бауле, отыскивая нужное белье.

— На-ко вот! — обернулась к Лизавете и залюбовалась: — Кака, ты Ли-изка-а!

— Какая?

— Туга да светлотелая. Белый налив будто. Сенька, небось, как ласкается, слюной исходит.

— Скажешь тоже,— засовестилась Лизавета.

— Чё тут стыдиться? Таку любой мужик станет любить. Это я ссухофруктилась. Скоро и Егор забракует.

— Настя!

— Усохла, чё там. У меня титьки вô какие были, да одни наволочки остались — в пять ртов отдудонили всю. О, господи, года водой истекают. Оглянуться не успеешь — внуки посыплются. Ну, одевайся, пойду костерок запалю.— И, проходя мимо сношельницы, созорничала — высохшей холодной ладонью шлепнула ту по голому заду.

Почаевничали на́скоро — и опять на вентеря. В верхнем глухом углу култук помельче. А известно, что меляки лучше прогреваются — оттого и рыбы тут было погуще.

На приемку приехали довольные уловом. Рыбаки, увидев кургановских баб, оживились, загомонили:

— Мужиков-то прогнали, али чё?

— Сами, небось, сбежали... Хо-хо...— захихикал незнакомый рыжий парень по-бабьему тонким голосом.

— Робята, а рыбы-то не меньше нашего.

— Нонешние бабы и без мужиков обходятся.

— Сомневаюсь я. Как это без мужика? — отозвался тот же язвительный голосок рыжего.— В помощнички возьмите, а? Выручу, хо-хо...

— Дорогу назад не найдешь,— нашлась Лизавета.— И как рыба ловится забудешь.

Мужики заулыбались:

— С виду тиха, да норовом лиха.

— У-у, налил зенки-то, кобелина рыжий,— пристыдила Настя, накладывая в носилки рыбу.

— Пьем, тетка, покеда дома. А забреют — не дадут.

— Заткнись,— одернули его мужики. И уже серьезно: — Настя, где мужики-то?

— Плавают.

— Не на Сумнице?

— Там.

— Вот как, робя! Давайте-ка плавнушки налаживать. Тогда и араковать некогда будет. Считанные дни остались, а там и путине шабаш. Не ценим время. У нас как? Сетями лежим — вентеря сушатся. А плавнушкой если работаем, сети выдираем. А Егор, он знает что к чему. Все в дело пустил — где-нибудь да удача. Хитрец, кумекает. Да и время ноне такое. Надо — и весь сказ. Война, она...

И как-то само собой повелся раговор о том самом главном, что неслыханной бедой-напастью, надсадной болью всплывало всякий раз, как только хоть на минуту мысли и натруженные ловецкие руки отходили от дела,— о войне.

— Радио говорило: под Харьковом да под Воронежем жарко...

— Не битый — серебряный, а битый — золотой. Погоди малость...

— Далеко все же промахал...

— Так и до Сталинграда нашего допрут.

— Чирий те на язык, каркаешь.

— Я — чё? Немец уж шибко обнаглел. А коснись меня, я бы Гитлера того в кутец да в воду.

— Хе, в кутец — легко подохнет,— отозвался рыжий.— Я бы его, паразита, нагишом в камыши, на замай, комары его кончат.

— И сто́ит ирода. Мыслимо ли: дитенков танками давит, старух в церквах жгет.

—И до Сталинграда далеко, не пустят. Товарищ Сталин не дозволит — я так считаю.

— Был я, ребята, в том городе, на слет передовиков возили нас. Агромадный, скажу я вам, город. Вроде бы на шестьдесят верст с гаком по Волге...

— Ни хрена! Это сколько же наших Морянных в нем поместится?

...С приемки добрались до стана в сумерках, а плавичей все еще не было. Они вернулись, когда на яру трепыхал костер, высвечивая мшистые пни да зелень нависшей ветлы. Егор опустился у огня на кортки, а Семен, озорно кряхтя и охая, повалился бочком на прибитый восковой белотрав и положил вихрастую голову Лизавете на колени.

— Заварили? — поинтересовался Егор, закуривая.— Краснуху надо бы в охотку. Завтра, стало быть. Семен, посади-ка осетра на кукан. Икряной. Утречком разделаем. Да мотри, приглубистей кол воткни, чтоб не уснул. Икра спортится.

Семен полез на бударку, Лизавета — за ним.

— Всего один? — недовольно удивилась она, когда муж приподнял люк.

— Как же, стали бы из-за одного дотемна ургучить. На приемку двадцать семь голов завезли. Что ни осетр — боров, и только. Вы что это мужикам про Сумницу трепались? Помолчать не могли?

— А что?

— Понаедут, отбоя не будет.

— Ничё! — отозвался от костра Егор.— Краснуха хорошо идет, всем хватит. Нашел, что делить,— упрекнул он брательника.

А Лизавета промолчала и отвернулась от мужа: не нравился он ей в такие минуты. Что-то чужое и еще не понятое ею таилось в нем.

6

Исход весенней путины, столь обычный в прошлые годы, вызвал разнотолки. В стране голодно, с продуктами нехватка. Да и лучших ловцов призывного возраста оставили по броне, чтоб и фронт и тыл снабжать рыбой. Кормить-то надо кому-то,

бабам одним не одолеть ловецкой кабалы. И не понятно многим: отчего запрет? Ловить бы рыбку, пока ловится. А в реке или на полоях — какая разница?

Егор на этот счет твердое суждение имел.

— Выцедить Каспий и дурак может. А вот кто даже в таки голодны годы хозяина в себе не растратил, тот, ей-пра, далеко смотрит.

Да и то сказать: не поразмыслив, мужики-то недоумевали. Через десяток дней, ну от силы через полмесяца сомовий лов открывается. А к нему соответствующая изготовка требуется: сомовники в должный порядок привести, негодные крючья сменить, гнилую хребтину вырезать да куда надо крепкую приспособить. Бударки высушить да высмолить. На все это время уходит немалое. Туда-сюда, нет недели-другой. А там собираться приспичит. Выходит, что без запрета никак не выкрутиться. К тому же он, запрет, прежде всего необходим, чтоб рыбе икру выметать. И очень даже прав Егор, когда сетует, чтоб люди хозяина в себе сохранить могли. Не одним годом жизнь измеряется.

Так вот и наступил запрет. Кургановы сети да вентеря выбрали, высушили, сложили в землянушке, набросили на пробой замок и на обеих бударках отправились домой. Про замок особо речь. Присказка «Замок вешают от честных людей, а не от жуликов» не иначе как средь рыбаков родилась. И то — удержит ли злодея махонький кус железа, когда вокруг камышовые крепи да леса ветловые и на десяток верст ни души. Но не помнят морянинцы, чтоб блудил кто. И вентеря или сети, когда стоят, опять же баловство не допускается. Надо свежья на котел — бери, никто поперек слова не скажет. Но чтоб и сеть не рвать и вентерь в том же виде оставить, каким был. Таков неписаный

ловецкий закон. И замок на дверях, стало быть, вроде таблички: «Хозяв нет».

Нынешние послепутинные дни были необычными для Морянного.

— Чуешь,— спросил Егор наутро после приезда.— По нужде выходил ночью — тишь. Ни звука. А те годы, бывало, а?

Бывало... Гудьба сплошная над Морянным стояла, ходуном ходило село. Просто, без никакого уговора, бывало, заглянет сосед к соседу:

— Без соли, без хлеба — плохая беседа. Ставь бутылку, шабер.

И пошло — завертелось. Глядь-поглядь, а во дворе под шалтенью уже образовалась застолица разноголосая. И нет тут званых и незваных — все по-застолу. Да и быть иначе не может — недруг к недругу не заглянет, а коль забрел кто к кому — как тут не посидеть за рюмочкой, не порадоваться концу путинному.

А то — ввалятся гурьбой в правление колхоза и, как ты, председатель, ни изворачивайся, как ни отнекивайся, все равно уведут. Зная обычай морянинцев, и председатель и парторг в эти дни находят неотложные дела в районе, а то и в самой области. Пыталось колхозное начальство поломать обычай, но сколь ни билось — никакого результата. Истинно говорят: обычай старше закона.

Война жестко крутанула жизнь на свой лад. В первый же запретный день в председательском кабинете — не протолкнуться. В избе чадной и то легче дышать. Вдоль стен на корточках мужики. Скамейки женщинам уступили. Те, на что уж привычные к духу табачьему, морщатся, чертыхаются:

— Хватит коптить-то... Баб хоть пожалейте.

— Айдате во двор, дымокуры.

— Отвыкла, Марья, как мужика проводила.

— Отвыкнешь от вас, черти просмоленные.

— Не очень-то! Вот уйдем все — взвоешь.

— Сасан останется,— нашлась что ответить женщина.— Для запаху мужского и он сгодится.

— Да вот — Василь Фанасич еще. Председателей-то наших, глядишь, и не заберут.

— Мы с Сасаном только для виду мужики,— улыбнулся председатель колхоза.— Так что, бабоньки, не дерзите мужикам.

Василий Афанасьевич Солонин человек уже в годах, из горожан. В Морянном с десяток лет верховодит. Принимали его морянинцы, думали — недолго удержится, а он возьми да и приживись. Продал в городе дом, купил в Морянном. В тесном дворике с десяток фруктовых деревьев каким-то чудом разместил, да от калитки до крылечка — виноградный просад.

Не в пример прежнему председателю — слова худого за все годы никто от него не слышал. Рассудительный по-стариковски, в решениях неспешный, в меру покладистый — по нраву пришелся сельчанам. С виду он неказист, ростом средненький, тощ, лицо монгольское, а на голове плешь вольготно распласталась. Про таких вот говорят, что у них много лица.

Солонин не гадал, не рассчитывал сегодня собирать народ, знал по прежним годам: два-три денька надо на то, чтоб пришли в себя после нелегких путинных дней. Получилось совсем по-другому. И члены правления будто сговорились — все до одного притопали.

— Ну что, родные мои, поумничаем...— Солонин всегда так начинал. Первоначально слушать те слова странно было. Потом пообвыкли.— Река, го-

ворят, красна берегами, а сходка — словами. Поразмыслите над тем, что сказать собираетесь. А пока мне слово. Про обстановку и положение наше говорить не стану, не время словами сорить. Предложение мое такое: все звенья, где есть хотя один мужик,— спешно к лову сома подготовятся. Остальных, женщин стало быть, мы разнесли по спискам — кого на бахчу, кого на покос. Читай, у тебя глаза острые.— Он сунул одному из правленцев мелко исписанный тетрадный листок и тяжело опустился за стол.

Спорить было не о чем. Солонин всегда ухитрялся чуть ли не всем угодить. И люди неодинаковые, и работа предстоит разная, а послушать старого — все правильно да с умом распорядился. Тем более, что насчет талонов на продукты успокоил баб: пообещал распределением самолично заняться. Выходит, и тут справедливость будет.

Раскричались, когда насчет судоремонта речь зашла. Лесу в колхозе совсем мало, гвоздей да скобы тоже нет. Смолы — слава богу — запаслись года на три. Но прежде чем осмолить бударки, ремонт нужен. Как тут быть? Судили-рядили, а дело ни с места. Сходка, как вода: пошумит да схлынет. Так и тут. Пришлось председателю разъяснять.

— На моторно-рыболовной станции ничего пока не обещают,— «обрадовал» Солонин. И от вести той все приуныли. Председатель задумчивым взглядом обвел членов правления и попридержался на спокойном лице Егора: — Такие пироги, Егор Кузьмич. Что делать — ума не приложу.

— Выкручиваться надо,— сдержанно отозвался Егор.

— Только и делаю, что выкручиваюсь. Куда уж дальше?

— Можно,— невозмутимо настаивал Егор.— Мы вот кое-что надумали с брательником.

Насчет брательника Егор ради красного словца сказанул. Пока все спорили да шумели, он действительно обмозговал кое-что один. А Семен в эту самую минуту направлялся в сельский Совет, куда его срочно вызвал Сасан.

— Своим посудинам ремонт дадим мы сами,— продолжал меж тем Егор.— Две-три доски найду для заплат. А скобы и прочее — оно, если порыться в закутках, у каждого отыщется. Одна бударка, правда, капитальный требует — на седьмой воде уже. Да как-нибудь осилим. Вот и все! — И сел.

Мужиков донять словами — дело хитрое. Пока обдумают да прикинут что к чему, борода отрастет. Солонин же смекнул сразу всю выгоду и силу Егорова предложения. Боясь, как бы его не опередили и не испортили «обедню», он поднялся и сказал — будто из свинца слова отлил:

— За такие слова, Егор, я тебе Сталинскую премию выхлопочу. Не меньше. Вот бухгалтер не даст соврать: по тридцать—сорок тысяч только на ремонт ежегодно тратим. Но дело в другом — выход нашли. Спасибо, Егор.— Солонин решил, что слова его произвели должное впечатление и спросил: — Как, товарищи колхозники, поддержим Егора?

— Можно, отчего же...

— Или супротивники мы себе.

— А те тысячи, председатель, про которые ты говорил, надо того... в помощь фронту.

— Вот это по-нашему, по-рабочему,— оживился Солонин. Он всякий раз, когда находил нужным, вспоминал свое пролетарское происхождение и в

минуты особенного возбуждения восклицал таким вот образом: — Что ж, запишем: фронту — от морянинцев, на разгром врага. Звучит, а?

7

Сасан, сколько себя помнит, жил на краю Морянного в глинобитной землянке на казахский манер — крыша плоская, тяжелой земляной насыпи. Ветры забрасывали на нее семена диких трав, нечастые дожди скудно смачивали их, отчего с годами на крыше закучерявился жиденький болезненный чертополох, над которым торчала низенькая прокопченная труба, увенчанная опрокинутым без дна ведром. Жил Сасан с бабкой, два сына его работали в городе и прошлой же осенью ушли на фронт.

Всю долгую жизнь старик пас коров: сначала его нанимали от общества, потом поступил в колхоз. И стар и мал зовет его только по имени. Сасан к этому привык, тем более, что отчества у него, как и у всех казахов его возраста, не было.

Ни фигурой, ни ростом Сасан не выделялся среди стариков. И если было в его внешности что-то примечательное, так это крупная стриженная под машинку голова с оттопыренными ушами. Чуть раскосые азиатские глаза — ласковые и добрые.

Немногословный, до робости стеснительный, он был образцом исполнительности. Ни в прежние годы, ни в артельном хозяйстве не было случая, чтоб у Сасана пала животина или чтоб ее задрали волки.

Перед войной Сасана выбрали депутатом в сельский Совет. Старик несказанно обрадовался, однако на людях свою радость не выказывал, прятал за шуткой:

— Уй-бай, Сасан бальшой начальник стал.

Слова эти оказались пророческими. В первый же год войны, когда председатель Совета ушел на фронт, из депутатов в селе осталось четверо: учительница, сельский пекарь, Сасан да Егор Курганов. Выбор пал на Сасана. Странно вроде бы: безграмотный пастух — председатель Совета. А рассудительно коли подойти, то и выхода иного не было. Пекарь на то и пекарь, чтоб кормить людей хлебом. Учительницу тоже трогать нельзя, и без того их две на четыре класса — с утра дотемна с детьми. Ну, а Егора оставили в тылу, чтоб рыбу ловил, да и то ненадежно: того и гляди призовут вслед за дружками — долго ли бронь-то снять.

Вот так и вышло: Сасан сдал стадо своей бабке, купил себе ученический портфель и заделался хозяином села. А вскоре обнаружилось, что у него есть фамилия — Кадыров, очень звучная и красивая.

Первые два дня он учился расписываться, а заодно и приглядывался к своему штату-аппарату: секретарю Совета и налоговому агенту — девчушкам лет по семнадцати-восемнадцати. Для своих тайных откровений выбрал агентшу—она показалась Сасану самостоятельной и серьезной. И всегда доверял ей первой читать все бумаги, поступившие в Совет.

— Ай, кзым, хади суда.— Сасан раскрывал туго набитый портфель и доставал нужную бумажку. Бумаг было немного, а бока портфеля распирались потому, что в нем лежала конская узда или же ременная тренога, в зависимости от того, где была в данный момент сельсоветская лошадь: стояла у привязи или же паслась на лужайке, тут же за околицей. Конюха по штату не полагалось, и его несложные обязанности Сасан исполнял любовно и со знанием дела.

Помаленьку выяснилось, что старик председательский стул не зря занимает. Если к нему заходили люди, он оставлял все другие дела и мог выслушивать их по многу часов подряд. Это нравилось. И незаметно Сасан превратился в непререкаемого советчика: к нему шли даже по любому пустячному делу, особенно женщины и особенно же те, у кого не было в доме мужика. А без мужского слова женщине трудно, почти невмоготу.

В районе Сасана даже хвалили: госпоставки — самое тягостное — выполнялись в срок. Попробуй-ка многосемейную женщину, оставшуюся без мужа и со дня на день думавшую, чем бы набить пять-шесть ненасытных ртов, попробуй уговорить ее каждый год сдавать сорок шесть кило мяса — бычка полугодовалого, не меньше. Вдобавок к нему еще масло, шерсть... А там — займы «добровольные, но обязательные», денежный налог со двора...

Сасан болел в такие дни, страдал больше любого, но шел к людям, а что делать? Не одним морянинцам трудно. Так и говорил.

А то:

— Марья, запрягай самовар. Без чай никакой сил нет. Чай пьем — крылам летаем.

Хозяйка ставит самовар, опасливо косясь на гостя: не похоронку ли таит в портфеле. Но Сасан глаз не прячет, и женщина успокаивается.

— К беженкам ходил. Уй-бай, плох дел. Земля оставил, дом горел, коров горел, чушка горел... Без дом, чужой села живет.

— И не говори, Сасан,— поддакивала хозяйка.— Нам трудно, а беженцам и подавно. Ни кола ни двора. И мужиков-то порастеряли: живы, нет ли —ничего не знают. Поразбросало людей.

— Беда, Марья, большой беда. К нам четыре

семья приехал. На весь район — сто семья. Детей кормить надо, солдат кормить надо.— И как бы невзначай осведомлялся: — Марья, мясо сдавал? А масло?

— Молоком ношу, каждое утро на пункт ношу,— торопливо оправдывалась Марья.— А мясо — обожди. В зиму забьем бычка, тогда и сдам.

И получается: не Сасан ее убеждает, а она уговаривает его повременить.

В то самое утро, когда у Солонина собирались саловцы, из района прискакал нарочный и вручил Сасану засургученный пакет.

Сасан добросовестно вывел свою подпись в тетради, которую подсунул ему человек из района. Проводив курьера, он позвал агентшу:

— Ай, кзым... хади суда. Читай... мой глаз плох сегодня видит.

Девушка увидела в руках председателя перевернутую вверх ногами бумажку и улыбнулась.

Спустя полчаса в Совете сидело двенадцать мужиков, а вместе с ними и Семен Курганов со своим закадычным дружком Петром Балашом. С ним Семен вместе заканчивал школу. С тех лет водой их не разлить. Друг за дружку стеной стоят. В четвертом еще классе, когда выяснилось, что Семен завалил экзамен, Петр в порядке солидарности сделал то же. Петр в противоположность Семену рос смуглым коротышом, нрава был веселого, неунывного.

Сасан, как всегда, держал очень короткую и выразительную речь:

— Фронт пойдем. Бронь с вас снимал.— И в подтверждение своих слов осторожно хлопал ладонью о стол, будто сельсоветскую печать к бумаге прикладывал.— Завтра раён ходить нада. Вот так, дорогой балам!

Мужики, расходясь, перебрасывались словами:

— В раён так в раён.

— Подводу дадут до Володаровки, Сасан?

Петр Балаш вспомнил довоенную прибаутку призывников и дурашливо пропел:

Нам дорожка бережком
В Володаровку пешком.

— Зачем дурной слов говоришь,— рассердился Сасан.— Подвод будет, провожатый будет...

— ...Бутылка будет,— подсказали со стороны.

Сасан улыбнулся:

— Бутылка дома ашай. Сасан в гость кричи... Такой дела, балам.

8

Спускаясь с шаткого и скрипучего сельсоветского крыльца, Семен испытывал необъяснимое чувство. Ведь стыдно было: тридцатилетний детина — и дома. Хотелось, чтоб сняли броню, отправили на фронт. Не раз вслух про то говорил. А вот подошло время, решилось — и заныло, защемило внутри. Страха он не испытывал, да и не мог его испытывать, потому что еще не видел войны, не знал, что ждет его.

Другое заботило: оставлять привычное, все, что было его жизнью: село, дом, родных, Васятку, Лизавету — молодую, цветущую, с которой душа в душу прожил девять годов. По природе своей был Семен ласковым и привязчивым. Поженившись, он уже не представлял себя без Лизаветы и считал, что ему здорово повезло на жену: и собой она видная и в дом вошла — словно тут вековала. А уж работящая — про то и говорить нечего. И ее-то, Лизавету, приходится оставлять. Как это говорят? Солдатка —

не вдова, не мужнина жена. Эх, Лизавета, Лизавета...

Запечалился Семен, но внешне старался виду не подавать. Показное самообладание удавалось ему, пока шел улицей, рядом с такими же, как он. Но по мере того как приближался к своему подворью и ему предстояло сейчас объявить жене нелегкую для нее весть, его покидало даже напускное спокойствие. Он уже представлял: как повиснет на шее, забьется она, зарыдает, захлебываясь слезами.

И не догадывался он, что всегда безотказно работающий беспроволочный бабий телефон давным-давно разнес по селу то, что Сасан объявил мужикам. Не знал и не ведал Семен, что Лизавета, когда слух дополз до нее, без сознания повалилась во дворе, очнувшись, наплакалась вволю. Оттого и обернулось так, что не он, а она первой произнесла те самые слова, которые он никак не мог нащупать.

— Вот и дождался...

Семен, доселе прятавший от Лизаветы глаза, изумился, ему почудилось, что ослышался. Но посмотрел в зареванное лицо жены и сообразил: знает. Вздохнул облегченно.

— Чё поделаешь? Не я один. С Петром вместе будем — и то хорошо.

— Напросились, поди-ко?

— Ну, конешно, станем набиваться... Сняли броню, и весь разговор.

Егор, когда братья остались одни, сказал в раздумчивости:

— Можа, оно и лучше, что тебя. Как-никак у Лизаветы Васятка один, а у Настасеи — пятеро. Да и не сумлевайся. Одним котлом жить будем. А идтить сё равно, кому ни на есть, а надо.

— Оно, конешно... Только вот... Васятка...

— И думки плохой в голове не держи. Как свово буду смотреть до того дня, пока не придешь.

— Спасибо, братка. Не о том я...— Семен говорил сдавленным голосом. Слова трудно давались ему.— Отрываться... тяжело.

— Знамо дело... семья.— Егор понимал, как нелегко Семену оставлять семью, но растерянность брата, грустные глаза сердили старшого.

И Лизавета приметила перемену в муже. Всегда разговорчивый, по-мальчишески беззаботный, Семен враз сник, будто выцвел, загоревал, отвечал невпопад. А вечером, в постели, лежал не шелохнувшись и молчал, пока Лизавета не расшевелила его.

В открытые ставни спаленки на кровать падал косой лунный свет.

— Ты, Сень, береги себя и почаще пиши.

— Ладно.

— Тяжело мне будет без тебя,— Лизавета, лежа к нему бочком, приподняла голову с подушки и увидела в уголках его глаз скопившиеся слезы. Она порывисто обняла Семена и всхлипнула. Ей хотелось успокоить мужа, но слезы мешали ей говорить.

Утром в день проводов в Семенову избу зашли Солонин и Сасан. Женщины подали на стол две сковороды: в одной рыба жареная, в другой — подрумяненный картофель. Изба наполнилась вкусным запахом жарехи — за уши от стола не оттащишь. Егор достал литровую бутылку водки.

— Разопьем-ка, брательник, по проводному стаканчику. И гости дорогие очень даже ко времени.

Солонин спрятал в квадратной ладони граненый стакан с водкой, встал. Следом поднялись и остальные.

— Верим, Семен Кузьмич, что будешь ты таким же добрым солдатом, как и рыбаком, что не опозо-

ришь ты ловецкую честь,— сказал Солонин.— Провоевали мы немало городов. Теперь их брать нужно. Вот и пожелаем тебе: крепко дерись, бей фашиста, очищай нашу землю. И возвращайся. За твое благополучное возвращение, Семен Кузьмич.

Лизавета с Настей всплакнули при этих словах, у Егора мелко-мелко задергались губы, и он, чтоб скрыть столь досадный факт, заслонился стаканом и не спеша выпил.

— Спасибо...— Семену хотелось сказать много, но от непрошеных слез женщин и слов председателя колхоза, очень хороших и даже несколько торжественных, в горле запершило, и он сумел только выдавить из себя два слова: — Вот... Лизавета...

— Лизавет и балашку обижать не дадим,— уверил Сасан.— Солдатский дети — всем деревня родня.

— Вот и я говорю,— поддакнул Егор.— Иначе нельзя. Василь Фанасич, Сасан, закусывайте.

— Кушайте, угощайтесь,— нараспев запотчевала Настя.— Не студите.

— Благодарим,— Солонин поднялся.— Мы пойдем.

— Не-е,— запротестовал Егор.— Еще по одной плесну, посошок на дорожку...

— Хватит. И к другим нельзя не зайти,— сказал Солонин.— Да и вам по-семейному поговорить есть о чем.

После их ухода Егор с Семеном отлучились покурить, а Лизавета начала собирать мужа в путь-дорогу: из старого, окованного железными ремнями сундука вынимала белье, теплые, самой ею связанные из верблюжьей шерсти и еще не одеванные варежки и носки. Настя убрала со стола, вымыла посуду и, сбегав к себе, вернулась с теплыми овчинными рукавицами.

— А Егор как же?

— Привезут в кооперацию. А то и сама сошью. Барашку в прошлом годе резали, овчинку выделала — любо поглядеть. В район поедешь? — полюбопытствовала Настя.

— Как же.

— А мож не стоит? — слабо запротестовала сношельница.— Дальние проводы — лишние слезы.

— Поеду,— не раздумывая ответила Лизавета.— Сама провожу.

9

Ночевали в Володаровке. Поселок большой, вольно вытянувшийся вдоль реки: из конца в конец пройти — версты три небось наберется. На ночлег определили их в опустевшем школьном интернате, неподалеку от военкомата. Комнаты в ребячьем доме просторные, по десять и больше кроватей установлено. Морянинцам достались две торцовые — дверь в дверь.

Петр Балаш сбегал в лавку, и мужики, уже успев хватить хмельного, шумно разговаривали за столом. Семен, тоже навеселе, сидел на краешке железной койки, на которой отдыхала Лизавета, и, не отрывая глаз от жены, говорил неспешно:

— Васятке валенки купи. Старые совсем развалились. Хотел подшить, да не успел.

— Егор подошьет. Ты, Сень, за нас не кручинься, мы дома,— ответила Лизавета и подивилась: нашел о чем беспокоиться. С минуты на минуту отправка, а он о валенках вспомнил...

Семен и сам понимал, что говорит совсем не то. Конечно же, Егор за ними присмотрит, не обидит. И не о том его мысли. Заботит Семена необходи-

мость отрываться от Лизаветы, такой ласковой, привычной и необходимой каждый день, каждый час его жизни. Но как об этом скажешь, да и скажешь ли?

Чуть ли не до полуночи сидели морянинцы за разговорами: домашних вспоминали, прошлое в памяти воскрешали. И только надумали прилечь отдохнуть, зашумел кто-то в коридоре, потом пробухали гулкие шаги, и в открывшуюся дверь прогудело:

— Отправка! Выходи строиться!

Лизавета, босиком, простоволосая, выбежала следом за Семеном, но в непроглядной тьме быстро затерялась средь баб.

— Сеня, Семен!

— Здесь я, здесь, Лизавета!

Она бросилась на голос и увидела перед собой плотный ряд мужиков. Строй колыхнулся и двинулся к берегу.

— На пристань иди,— подтолкнул ее осипший мужнин голос.

У широкого помоста на сваях, вздрагивая деревянными надстройками и ворча машинами, дремал двухпалубный пароход «Ян Фабрициус». Тут же на деревянном настиле, обнесенном жиденькими перильцами, разноголосо гудела толпа.

— Лиза!

Семен быстро отыскал ее. Лизавета бросилась к мужу, прижалась к нему и затихла.

...Когда осевший набок пароход тяжело зашлепал плицами и, разрывая ночь длинным прощальным гудком, стал отваливать от причала, Лизавету силком оторвали от Семена, и он в самый последний момент скакнул на привальный брус, через черную пустоту между бортами. Его подхватили цепкие, мужские руки и упрятали в толпе.

Пароход, не переставая гудеть, потихоньку таял

во тьме. Лизавета ничего уже не различала. Обессилевшая, она опустилась на что-то и, спрятав лицо в мокрых ладонях, давясь слезами, шептала горячо и страстно:

— Господи, неужели я его больше не увижу? Ну хотя бы одним глазом посмотреть. Неужели он не вернется?

Не знала, да и откуда ей было знать про то, что недолго Семену быть на чужой стороне, что вернется он домой раньше всех, кто сейчас отплывал на пароходе от родного берега. Не знала Лизавета и другое: возвращение Семена ничего, кроме горя и несчастья, ей не принесет. Да и откуда было знать про то...

10

Подво́дничали солдатки сами. Возвращались повозки почти пустыми — только пятеро баб сопутствовали мужьям до районного поселка, остальные до околицы Морянного дошли и вернулись: не у всякой есть на кого детей да скотину бросить.

Позади бо́льшая часть дороги, две долгие паромные переправы. Лизавета, раскинув руки, в полудремоте лежит на ворохе сена. Рыжий мерин послушно тянется за передними возками. Будто сквозь туман, невнятно и усыпляюще шелестят голоса женщин с соседней телеги, чуть громче выстукивают рассохшиеся втулки и спицы колес.

Лошади устали — полдня без корма и передышки. Их никто не погоняет, и они идут неспешным, ровным шагом. Да и не до лошадей бабам-то. У них свои разговоры, свои думки. Истомились к тому же: всю ночь после проводов, сидя в интернате на узких детских кроватках, они глаз не сомкнули, про-

ревели до рассвета. А развиднелось — засобирались домой.

Тягостно на сердце у Лизаветы — хоть волком вой, хоть белугой реви. И удивляется она товаркам — как те могут судачить без конца? Она рада бы побыть одна-одинешенька, без мыслей, без дум. Но они так и толкутся в голове, ни на миг не оставляют.

Колеса прогромыхали по деревянному настилу — до Васюхинского моста добрались. Лизавета открыла глаза, перекатилась со спины на живот, приподнялась и увидела рощицу могучих тополей. А увидев их, вспомнила все, что связано с зелеными великанами. Морянинцы называли это место Тополиным.

Вон там, на крутоярье, когда Лизавета еще в девчонках бегала, была их бахча. А рядком — бахча Кургановых. Старик Кузьма, облюбовав нетронутую целину, поднял клин непаши, а заодно и для соседей прихватил кусок — Лизавета с матерью жили по соседству с Кургановыми в покосившейся землянушке. Не только мягкое сердце подтолкнуло Кузьму Курганова на доброе дело. Был и расчет: Лизаветина мать все лето жила на бахчах, а заодно и соседские посадки караулила — не столько от злых людей, сколько от прожорливых грачей.

И еще одна потайная мыслишка жила в хозяйственной и рассудительной голове старика: пацанка Лизавета росла на глазах, умехой росла. Мать знала про стариковы замыслы и загодя радовалась.

Бахчевничали дружно. По старым дедовским приметам, усаживать грядки капустной и помидорной рассадой на молодую луну — к доброму урожаю. На нóвине и без того земля жирная да в силе, и, помимо примет, кусты тяжело клонятся от плодов.

Но с приметами считались, ими не разбрасывались. Одно другому, считали, не помеха.

От тех далеких лет воспоминания перепорхнули к более поздним, когда Лизавета гуляла с Семеном — нравились они друг дружке. В запрет возвращался он с низов и до самой жаркой путины жил дома. Село в мае окружали полые воды, из Морянного без лодки шагу не ступить. Позднее шоссейку проложили до Володаровки, по ней и возвращались сейчас бабы домой.

Вокруг — камыши, чакан да ветла. Комарье — дыхнуть по вечерам нельзя. А молодым и в кулак комар — не помеха. У села, по забугорью, равнина. По ней лунными ночами, спугивая бугровых куликов и пугливых чибисов-жалобщиков, гуляли пары. Любила Лизавета ночные гулянья. Тихо. Лунная светь. А рядом Семен шепчет красивые слова. Откуда слыхал? От кого научился? Ближе к свету друг дружку провожают: то к ее землянушке подойдут, то к кургановским воротам возвратятся. И ходьбы-то десять шагов — а до утра, бывало, мерят не перемерят.

Свадьба припомнилась. Мать Лизаветина еле дотянула до нее, будто только и ждала того дня, когда дочь определится.

— Дай-то бог дожить вам вместе до седых волос,— сказала она после свадьбы.

— А можа, их в тридцать угораздит поседеть? — засмеялся Егор.

— Наша порода крепка на волос,— ответила старуха.— Да и Кузьма, сват покойный, перед смертью только и заиндевел слегка.

Подводы перевалили бугор Маячный, мимо развалин старого маяка, в далекую старину светившего рыбакам. Дорога пошла под бугор. Внизу откры-

лось Морянное. И сразу мысли вернулись к нынешнему дню — к дому, Васятке, Настиной семье,— как они там? И была-то Лизавета в отлучке менее двух дней, а стосковалась по своим, будто год не виделась.

— Э-эй, карюха,— ожили бабы на передней повозке.— Давай-давай перебирай ногами, доехали.

Хлестнули ременные вожжи, звякнули удила, и телеги веселей покатились с косогора. Лизаветин конь, не дожидаясь понукания, утянулся за передними и рысцой затрусил следом, чуя близкий корм и отдых.

11

Солонин хоть и прибылóй человек, не крестьянских кровей, имел, однако, мужицкую смекалку и хозяйскую жилку. Вначале на ощупь, как слепой котенок, угадывал по разговорам и настроениям сельчан, по наставлениям, которые нескончаемым потоком шли сверху, что в данный момент самое важное, что позарез нужно сделать сегодня, завтра, в эту неделю, чтобы потом не чесать затылок, не утюжить шершавой ладонью бутылочную гладь плешины, не моргать перед колхозниками и, наконец, не выслушивать поучения районного начальства, которое по летам годилось иногда ему в сыны. С годами очередность крестьянских забот научила его зáгодя предвидеть все, что должен знать, заранее обдумать и предусмотреть деловой хозяйственник, а предусмотрев, распорядиться и людьми, и техникой, и всеми денежными средствами, которыми располагало артельное хозяйство.

Сенá, к примеру, доспевают где-то в июле, после спада воды. Обсохнут луговины, затвердеет землица, тогда и можно пускать косилки. Но Солонин к ко-

совице готов в мае. А вдруг вода малая и покосы на высоких гривках останутся незатопленными — чем черт не шутит. И тут уж не зевай! Хоть вручную, а убирай, пока в безводье не задеревенели травы.

В верховое бесснежье случается иное: не стоит вода — захлестнет острова, да и бегом-бегом, будто по неотложному делу скатывается, оголяет взлобки. Опять же — наизготовке будь хозяин.

Нынче все в меру: и вода обычная, на полях держалась должное время, и на спад пошла своим чередом, без спешки, без затяжки. Через недельку на гривках самая пора покóсить. Солонин ни дня ни часу не проживет, чтобы не напоминать морянинцам об этом. Егора, когда билет на отлов сома вручал, предупредил:

— На одну бударку разрешение выдаем. Кого с собой возьмешь: свою аль Семенову жену?

— Настасею, кого еще...

— Ну-ну, как знаешь. Я к тому, что ребятишкам с матерью сподручней. Раз так, Лизавету и Варьку на косьбу определим, чтоб готовы были. До солнца пройдешь три прокоса — будешь ходить не босо. Не забыть бы про то...

— Оно так,— согласился Егор.— Лизавета работящая. Да и Варька девка бедовая...

Кому ехать на взморье — Кургановы давно educación уря-дили. Точнее, между женщинами состоялся уговор.

Настя прибаливать стала. Еще на стану приметила Лизавета сношельницын недуг — рвота кряду дня три одолевала.

— Насть, случаем не зачала? — спросила Лизавета.

— С ума спятила. Зачать легко, только куда мне шестого-то? Да и время-то не подходящее, чтоб

плодиться. Дуреха ты, Лизавета, к чему мне, старой?

— Сорок лет — какая старуха?

— Родить — не воды испить, сама небось спытала. Не́мочь меня одолевает. Что ни поем — тошнит. И в животе чтой-то пузырится.

— Фершалу показалась бы.

— Много он смыслит. У нё окромя чайной соды другого лекарства нет. Свекор, бывало, пойдет к нему и как дите рад: в животе урчит, отрыжка. Прихваливал всё: не фершал, дескать, кадемик настоящий.

После путины болезнь снова подступила к Насте.

— Пища вот тут в горле торчит,— пожаловалась она Лизавете и предложила: — С Егором езжай. За Васяткой присмотрю.

— Что ты, Насть,— запротестовала Лизавета.— Стыда не обобраться.— И пояснила:— На стану́ есть куда укрыться по бабьему делу. А на лодке как?

— И то! — согласилась Настя.— Хоть и свой он тебе, Егор-то, а мужик все ж. С лодки шагу не ступишь — вода, куда ни глянь. Все друг при дружке, на глазах. Самой придется. Только бы хворость отстала.

Но болезнь не отступала, и Егор нашел выход:

— Васятку возьму. В его пору я на реюшке с отцом в море работал. До школы побудет на лодке.

— Не болтай что ни попадя,— запротивилась Настя.— Видано ли, чтоб мальчонку на бударку. Надорвется еще...

— В прежние годы, бывало...

— Мало ли чего было,— перебила его Настя.— Не пущай, Лизавета. Сама пойду.

Но Лизавета выслушала Егоровы слова спокой-

но: знала, что тот относится к мальчишке, как к сыну родному, и обижать не станет.

— Пускай привыкает к делу,— успокоила она Настю.— Время теплое. Ничего с ним не стрясется.

— Вот так надо, по-умному,— упрекнул Егор жену.

Васятка, когда узнал, несказанно обрадовался.

— Мам, я больше учиться не пойду,— заявил он.— Крестному помогать буду.

— Ты что, сынка,— испугалась Лизавета.— Как можно школу бросать. Да и папка огорчится.

— Я ловцом буду, как крестный и папка.

— Будешь,— успокоила Лизавета сына.— Но школу надо закончить. Иначе, что я отцу напишу, а? Ты, Васянька, помогай крестному, а осенью в школу. И папка будет спокоен, ладно?

Васятка подумал и согласился.

...Через недельку Егор с Васяткой отбыли на взморье ловить сома. Лизавета с Варькой, худенькой, но очень шустрой девчушкой, с утра уходили на покос, возвращались, когда перетомившееся солнце ускользало за горизонт.

Настя стряпала по дому, смотрела за коровой, курами. К приходу с лугов сношельницы и старшей дочери готовила ужин. Варька с подружками сгребала сено. После ужина убегала в клуб, до полуночи пропадала на улице, а утром просыпалась, едва мать окликнет ее. И казалось: ни работа, ни жара не могут сморить ее.

Лизавета смертельно уставала. Рослую и крепкую, ее ставили на мётку стогов. Тяжелые навильники сена с трудом отрывались от стерни, вымаaты-

вали к вечеру. И уже не было сил ни ужинать, ни по домашности заняться. Впору бы и домой не возвращаться — тут же под стожком упала бы да и проспала бы до утра. Но каждый вечер Лизавета спешила домой — а вдруг там ее ждет письмо от Семена. Он писал редко, помалу: их по-прежнему держали где-то в пригороде, обучали строю, стрельбе и разным другим солдатским премудростям. Но в скором вроде бы предстоит отправка. Куда — ни словом не обмолвился. Должно быть, на передовую.

Дни в семье Кургановых были похожи один на другой. Текли размеренно, однообразно. Словно морская зыбь — вал за валом, вал за валом. Так миновал июль, подошел август. Ничто, кажется, не предвещало беды. А она уже шаталась где-то неподалече, готовая вот-вот нагрянуть на порог.

12

На первых порах Семен солдатствовал невдали от дома. Будь его воля, за день дотопал бы пешим ходом до Морянного, одним хотя бы глазком глянул на своих. И то обстоятельство, что до родного сельца всего лишь каких-то полсотни с небольшим верст и вот так запросто в любой день можно дойти до него, очень смущало солдата, поминутно возвращало его мысли к дому, Лизавете. Поначалу он места себе не находил. Все вокруг него было непривычно. Да и люди немногословны, сосредоточены: каждый переживал разлуку с семьей. Самое тяжкое для Семена — не было рядом ни Лизаветы, ни Егора, а без них Семен и жизни себе не представлял. Оттого-то и служба солдатская становилась тягостной и невыносимой.

С зорьки и дотемна они бегали строем, ползали в белесой горячей пыли, рыли окопчики. Кровянистые мозоли на ладонях горели огнем, гимнастерка липла к телу, горло пересыхало от жары. За всю свою жизнь в Морянном он не наглотался столько пыли, сколько тут, на выжженных пустошах, между городскими окраинами и пригородным колхозом. Единственной отрадой в новой и непривычной обстановке была мысль, что она, эта промежуточная полоса в жизни, скоро кончится и его отправят на фронт, о котором солдаты говорили на каждом привале, во время вечернего отдыха и перед сном.

К концу дня, когда зной несколько ослабевал, их вели к Болде — неширокой волжской протоке: тут уж солдаты отводили душу. Привыкшие с детства к воде, они с самого утра ждали эти вечерние минуты блаженства. А дорвавшись, наскоро стаскивали с себя выгоревшее обмундирование под реденькими корявыми тутовниками и с разгону плюхались в воду.

С реки шли бодрыми, чеканя шаг — приближался ужин, а там и отбой. Неунывa Петр Балаш, приплясывая, приговаривал:

За дело — не мы.
За работу — не мы.
А поесть, поплясать —
Против нас не сыскать.

Так прошло месяца полтора. В середине июля их погрузили на деревянную баржу. Весь день, ночь всю и еще день старенький колесный буксир, пыхтя двигателями и вышлепывая плицами, тянул неуклюжую тяжелую посудину против воды.

— В Сталинград, стало быть,— сказал Семен, обращаясь к Петру. Но толком никто ничего не знал, а командиры угрюмо отмалчивались.

— Факт, на Сталинград, а оттуда на фронт,— согласился Петр.

Неожиданно буксир сбавил ход, и баржу прижало к яристому берегу. По зыбким скрипучим сходням сошли на безлюдный берег и строем двинулись в степь. Жаром дышал песок, горячий запах полыни щекотал ноздри. За спиной садилось перезревшее солнце.

— На Восточный фронт, ребята,— пошутил кто-то.

— Видел я, братцы, степь, но не таку пустыню безгласую. На Дону у нас: луга, покосы, хлеба — степь-матушка, одним словом. А куры степные — дудаки,— что твои бараны...

— Да, сухомань горькая,— послышался глухой усталый вздох.— И суслик тут с бескормицы подохнет.

— Худо лето, коль солнца нету, а тут с ним — хоть помирай.

— Разговорчики!..— Это ротный. Голоса обрываются, и лишь тяжелые солдатские шаги усталыми вздохами рвут тишину на ровные промежутки — точь-в-точь часовой маятник отмеряет секунды.

Уже и полночь близка, а конца пути все нет. Дыхнуло и сыростью. Забелело впереди что-то огромное, словно снежное поле. Ближе-ближе — и впрямь снег. Зашептались солдаты промеж собой:

— Чудно что-то, братцы.

— Июль — а тут...

— И не снег вроде, а лед на озере...

Но всегда найдутся сведущие. И тут отыскался:

— Баскунчак — озеро. Вода испарилась, вот и блестит соляной пласт.

По левую руку заметил Семен реденькие огоньки. Догадался: конец пути. А и то — нестерпимо болела

левая пятка, мозоль, должно быть, насадил. Но спереди приглушенно донеслось:

— Лево плечо вперед... прямо!

И вот уж огни за спиной, а озеро слева светлеет. Совсем сник Семен, опустил голову, еле бредет. Строй растянулся. И никто уже за порядком не следит — лишь бы не зацепить сапогом тугой кустик полыни да не клюнуть носом в песок, не отстать.

Палатки надвинулись из темени неожиданно. Привал! Четверть часа спустя солдаты спали непробудно. И никто из них не знал, да и не мог знать, что в этой безводной суши им придется еще несколько недель постигать солдатскую службу и что отсюда они попадут в одно из самых страшных сражений, какое когда-либо случалось на земле.

А пока солдаты спали...

13

Исходил август, когда Семену и его товарищам сказали: на Сталинград. И все стало понятно, ибо дальше дорог не было — фронт перехлестнул Дон, выжег хлебородные степи и впритык подошел к волжской излучине.

Гул надвигающегося фронта тревожил солдат еще в выжженной заволжской степи, а по мере того как продвигались они к Волге, шум непрерывных боев стал расчленяться на взрывы бомб и выстрелы орудий, на автоматные и пулеметные очереди, на вой выходящих из пике бомбардировщиков.

Командиры поторапливали бойцов, но почти трехдневный степной переход изнурил людей. Пришлось сделать привал — последний, на виду города, над которым вились реденькие дымы работавших еще

заводов. Кое-где горели пламенем деревянные дома.

Семен с Петром расположились под тенью молодого дубка.

— В наших краях не растут,— вспомнив о доме, Петр сорвал жесткий резной лист и ладонью стер с него пыль. Вдруг он приподнялся на коленях и нахмурился.— Сень, глянь-ко... Никак самолеты...

Семен всмотрелся и увидел: к городку плотными бакланьими рядами шли самолеты — ряд за рядом, ряд за рядом... Что произошло затем — трудно рассказать. Воздух наполнился взрывами, они слились в сплошной адский грохот. И почти сразу же за Волгой взметнулись столбы дыма и языки пламени.

— Стро-о-ойся! — заторопился ротный, будто от него сейчас зависело, будут немцы и дальше бомбить город или улетят восвояси.

У солдата сборы коротки. Ему лиха беда полы шинели подвернуть, а там — пошли-потопали. А летней порой и той заботушки нет. Вот уже и заклубилась пыль, длинным сизым хвостом потянулась за строем.

— Как тут скотинку держат,— дивился Петр, озирая пустоши.— Ни травинки, ни былинки.

— Отстань-ка ты со скотинкой,— оборвал его Семен.— Весь город дотла сожгут, ироды...

К Волге подошли затемно. Бомбы уже не рвались, затихла стрельба. И оттого еще страшнее было смотреть на горящий город. Он казался оставленным без призора: пожары беспрепятственно и деловито пожирали дома. Шквалы огня перебрасывались на соседние кварталы, огненными свечами дыбились телеграфные столбы.

Глухой и затяжной взрыв всколыхнул тишину. За каменными домами, пустыми глазницами смотревшими на Волгу, взметнулся столб огня и сотня-

ми рваных кусков рассыпался окрест. Там, куда упали бесформенные ошметки пламени, начались новые пожары. Багровые блики зловеще отразились в воде, высвечивая баржи и мелкие суденышки.

Семен с опаской смотрел на гибнущий город, черную в красных отсветах Волгу и думал, что завтра, а может быть уже сегодня ночью, вот сейчас, ему предстоит переправиться на тот берег, в самое пекло. И от этой мысли ему стало не по себе. А то, что он увидел в следующий миг, окончательно подавило его. Из улицы, где только что прогремел взрыв, вниз по волжскому откосу выплеснулся огненный поток — текла горящая нефть. И все, кто стоял рядом с Семеном, вмиг позабыв обо всем на свете, захваченные невиданным доселе и жутким зрелищем, молча следили за происходящим: неожиданно перед огненным валом выросла фигура человека. Он метнулся к тротуару, остановился, бросился назад и, настигнутый огнем, свалился на мостовую. А огонь сбежал к реке, взметнул перед собой завесу пара и растекся по воде.

Горел город, горела Волга...

Семен содрогнулся и задышал часто-часто. Его знобило.

14

В эту ночь они так и не переправились через Волгу. Огромное скопление солдат на левом берегу, толпы эвакуированных горожан запрудили прибрежные заросли ивняка и балки, поросшие жестким прутняком. На грани ночи и дня, когда Волга еле просматривалась, к наскоро сооруженному причалу колесный буксир подвел квадратную деревянную баржу. И она, и сам баркасик были густо облеплены

теми, кто, покинув тот берег, искал спасения на этом. Матросы поторапливали, помогали старым сойти, но выгрузка тянулась так долго, что Семен стал опасливо коситься на город: не дай бог, если прилетят самолеты или шальной снаряд долетит сюда. А там, за городом, на западных его окраинах, уже возобновились бои.

Прибывшие, не обращая внимания на шум боя, разбредались по берегу кто куда. Одни спешили, другие, оказавшись на земной тверди, располагались тут же, среди воинства, словно устали за дорогу.

Возле Семена присел под ветлой сухонький рыжебородый старичок. Облюбовав место, он долго уминал под собой песок, словно наседка гнездо. И затих, будто заснул.

— Устал, батя? — посочувствовал Петр.— Страшно небось, а?

— Страховитый немец-то...— отозвался старик.

— Погоди, бать,— озорно пообещал Петр.— Разогнем вот поясницу да ноги поразомнем, тогда держись фашист. Много еще народу там? Не все ушли?

— Куда там — все... Да и все-то не уйдут. Соседи мои, царство им небесное, в подвале остались.

— Погибли? — ужаснулся Семен.

— Живы пока.

— А что ж ты, дед, про божье царство вспомнил,— осерчал Петр.

— Легко вот так, не видевши-то. В аду разве уцелеешь? Я вот, служивые, старуху вчерась похоронил. О господи...— Старик помолчал и, будто вспомнив что-то, спросил:— Слыхали: вчерась немцы к Волге прорвались. У Ры́нка...

— Какого Ры́нка? — не понял Семен.

— Сельцо такое — выше тракторного... Слышь-ко: стреляют там...

И впрямь: с северной окраины непрекращающимся грохотом доносилась орудийная стрельба.

— На тракторный наседают...— Старик, отдохнув, поднялся.— Тут у меня сват недалеко, за слободой живет... Пойду. Господь храни вас, служивых...

И едва он скрылся за тальником, бомбардировщики черной тучей обложили небо над городом.

Взрывы, стрельба зениток, огонь, дым...

Эскадрилья за эскадрильей наплывали на вытянувшийся по-над Волгой город. Бомбили набережную, порт, переправы. Загорелись пароход и баржа, стоявшие на рейде. По реке плыл горящий мазут, и все, что не успевало ускользнуть с его пути, вспыхивало факелом...

— И долго тут прозябать нам? — возмущался Петр.

Но Семен молча наблюдал, как один из бомбардировщиков, снижаясь, пошел на старенький двухпалубный пароходик. Две бомбы вздыбили воду у бортов. Плач и крик оглушили Семена. Он подбежал к заплескам и неотрывно глядел на пароходик. Тот, переваливаясь с борта на борт, упорно тянул к берегу.

Самолет, развернувшись, возвращался. Он, видимо, израсходовал все бомбы. Длинная пулеметная очередь прошила деревянные надстройки. В тот же миг Семен, негодуя от злобы, вскинул к плечу винтовку и, несколько опередив цель, как это делал он на утиной охоте, выстрелил.

— Дурень,— окликнул его Петр.— Может, ты еще по Берлину или прямо в Гитлера пальнешь отсюда?

А самолет все кружил и кружил над пароходом. Но вскоре то ли ему наскучила эта кровавая, но

безнаказанная для него игра, то ли кончились боеприпасы, только он, сделав последний залет, скрылся за городом.

15

Уже и Петр, взяв котелки, сходил за обедом, уже и солнце, клонясь к горизонту, скрылось за городским пожарищем, а Семен с товарищами все еще толпились на левобережье, страшные в своем гневе, но бессильные чем-либо помочь и тем, кто отстаивал город, и тем, кто под бомбежкой переправлялся через Волгу.

Перевозили в два конца, суда шли переполненными: к Сталинграду — солдатами, оттуда — беженцами. Грузились под бомбежкой, выгружались под бомбежкой, переправлялись — тоже под взрывы бомб и вой снарядов.

Вечером часов в девять прибежал ротный: тя жело дыша, он построил бойцов и повел их к причалу. Но его опередили. Молоденький лейтенант в новенькой с иголочки форме распорядился по-своему: мимо опешившего ротного на катер грузился только что прибывший батальон бронебойщиков.

— Налево, кругом, без присмотра гусиным шагом — марш! — сострил кто-то из солдат, но ротный тут же одернул шутника.

И едва катер начал отчаливать, на берегу сразу во многих местах поднялась суматоха: кучились бойцы, навзрыд плакали женщины, те самые, что недавно сошли с катера и еще не успели уйти на восток. И все смотрели на Волгу. Семен обернулся к реке и поверх солдатского ряда увидел тот самый двухпалубный пароходик, который еще утром был обстрелян немецким самолетом и чудом уцелел.

Сейчас он горел посреди Волги. По охваченной огнем палубе, истошно крича, метались дети.

— Ребята, плывем,— закричал Петр.— Перетонут ведь несмышленыши.

Он стал срывать с себя одежду. И в ту же минуту все, кто был рядом, словно по команде, начали раздеваться.

— Петро, лодка вон,— крикнул Семен.— Айда на лодке...

Они бросились к плоскодонке, с трудом сдвинули ее с песчаной отмели на живую воду и, словно веслами, заработали прикладами винтовок.

Над Волгой сгущалась темнота. Но в отсветах пожарища все было видно словно днем.

— Ах, черт! — сердился Петр.— Утюг, а не лодка. Ползет черепахой.

— Давай-давай, Петь, можа, успеем...— торопил Семен и ругался: — Вот сволочи... по детям бьют...

Вокруг объятого пламенем парохода рвались бомбы. Вода словно взрывалась изнутри, со дна, выбрасывая над поверхностью тугие белые столбы. И там, где они вздымались, по воде расходились круги.

— К корме табань,— сказал Петр.— Вишь, под кормой двое бултыхаются. Правь-ка...— Петр замолчал на полуслове. Там, куда он показывал, взметнулся водяной столб.

У Семена непонятно отчего дрожали ноги — от страха, напряжения или от увиденного. А скорей — от всего сразу.

Говорят: от огня вода ключом кипит, а водою и огонь заливают. То же и с человеком. Он, если силен духом, страх бóрет, но случается, и страх человека губит. Ноги у страха — хрупки, а глаза — что плошки. Черная мысль гложет Семена: вот сейчас и

их могут так же запросто накрыть. Перед глазами — детские головки над водой, зримо видит их Семен, идущих к темному и холодному дну. Нет, это не ребятишек, а их с Петром тянет книзу в небытие...

...Страшной силы удар отбросил Семена в корму. В ушах звон, в глазах темень. И вот уж он погружается в темноту. И нет вокруг ни света пожарища, ни грохота стрельбы и взрывов. Тишина, темнота, будто летней ночью средь камышовых островов на взморье.

Очнулся он от ощущения холодной скованности в теле. Пошевелил руками и понял — в воде лежит. Над ним — темное в огненных сполохах небо. Покосил глазами: по бокам — борта плоскодонки наполовину под водой. Да и сам он лежал по грудь в воде, и только голова, прислоненная к кормовому пню, случайно оставалась сухой. Подумалось: «И захлебнуться мог».

Семен попробовал подняться — вышло. В ногах — свинцовая тяжесть, но боли нет — целы, знать. В полуверсте на реке что-то горело. И все вдруг вспомнилось: и переправа, и этот пароходик, и дети, и Петр.

Но где он? Семен приподнялся и, разгребая ногами воду, шагнул к носу плоскодонки. В темноте увидел: на носовом обрубе кто-то лежит.

— Петь,— позвал Семен.— Это ты, Петро?

Он дотянулся до обрубка, и рука его уперлась в мягкое податливое тело. Семен пошарил руками, норовя найти голову и грудь, чтоб посмотреть, куда и тяжело ли ранен его друг, но выше поясницы ладони нащупали что-то липкое и бесформенное... Какое-то время он ничего не мог понять, а когда осознал случившееся, вдруг не по-человечески дико закричал и бросился вон из плоскодонки.

Сколько и куда он плыл, каким чудом в одежде и сапогах сумел удержаться на воде, Семен не знал и сам. Нахолодавшая вода помаленьку вернула ему способность что-то видеть вокруг, понимать. И тогда он приметил какой-то большой и темный предмет, плывший мимо. Превозмогая усталость, погреб навстречу и ухватился за борт пароходной шлюпки. Семен с трудом перевалился через высокий борт и, едва коснулся мостков, почувствовал такую усталость в теле, что долго не мог пошевелить даже пальцем. Им овладело безразличие ко всему: к людям, с которыми только что ожидал переправы, к гибнувшим детям, которых бросился спасать, к горящему судну, к Петру, которого ни он, ни сельчане никогда больше не увидят... Хотелось ни о чем не думать, лишь бы его оставили в покое, одного, лишь бы подальше быть от того кромешного ада, из которого только что выкарабкался.

Безразличие и апатия ко всему окружающему были столь велики, что, когда он, лежа, пошарил вокруг себя руками и ладонь его коснулась холодного лица, Семен даже не пошевелился, не дрогнул. Он машинально провел рукой по мертвому и коснулся фляжки. Отцепив ее с чужого пояса, отвинтил крышку и поднес к лицу. В нос ударил запах спирта. Семен жадно глотнул раз-другой, но, ничего не чувствуя, пил водку словно речную воду.

Звякнула о дно шлюпки пустая баклажка.

Семен сжался в комок и неслышно уснул.

16

Любая река, будь то тысячеверстная или же крохотная водотечь, струится под уклон земли, и чем он больший, тем говорливей и норовистей река. И го-

ды и века течет вода по пологости, радует людей, дарит им жизнь и красоту. Но для Семена эта быстротечь речная обернулась таким неожиданным и крутым от его прежней жизни поворотом, после которого трудно что-либо предпринять и исправить. Да и свычен был мужик больше на Егора глаза косить, слово его ловить, жить умом старшего. И, оказавшись один на один со своей бедой, с судьбой нелегкой, не нашел в душе силы, чтоб принять то самое единственное решение, которое еще могло спасти его, вернуть к людям, с которыми туго связала его большая людская беда, называемая войной.

Очнулся он на утренней зорьке. Глаза еще оставались закрытыми, но внутренне он проснулся, сознание работало, и оно, это сознание, подсказало, что вокруг не совсем обычно, а наоборот, отлично от того, что видел и слышал в последние дни.

Тишина и тоскующий, еле слышимый за отдаленностью голос кукушки оглушили его. Он разлепил веки и увидел: изрезанное зеленью ветвей, голубело небо и неподвижно висело единственное белое, но уже слегка позолоченное облако.

Взыграла рыбина, и плеск воды в один миг вернул Семена в мир реальный, пробудил память. Но вспомнилось ему не все, что он пережил днем раньше, а лишь малая доля: то последнее, к чему он отнесся с удивительным равнодушием и безразличием. Сейчас же, едва оно воскресло в памяти, сел рывком и прямо перед собой увидел остекленевшие, словно заиндевелые, светлой зелени глаза. И животный страх, испытанный Семеном вчера, когда он ощупал то, что осталось от его друга Петра, вновь овладел им. Не страх от столь близкого соседства чужой смерти, а от ощущения возможной близости смерти собственной. Он видел в распростертом теле незнакомого

солдата собственное тело, безжизненное, застывшее. Чудилось, что это он, Семен, уставился оцепенелыми глазами на живой мир, полный удивительных красок и звуков. И пугающая мысль подступилась и облекла его: как, зачем, по какому стечению обстоятельств, по каким неведомым законам природы судьба свела его с этим человеком, точнее — с тленными останками? Почему почти за тридцатилетнюю Семенову жизнь она ни разу не соединила их, а отодвинула эту (кто знает— случайную или неизбежную) встречу на последний миг перед тем, как один из них навсегда уйдет в землю? И один ли? И не есть ли то и его, Семенова, судьба?

Стало невмоготу от этих мыслей. Семен силком заставил себя встать и только сейчас увидел, что лодку прибило к невысокой песчаной гряде, поросшей молодым ветловым перелеском. За ним, дальше от реки,—обширная и низкая луговина с множеством круглых приземистых стожков сена, очень напоминавших грибы на лесной ро́счисти. Семен выбрался из шлюпки, по заплескам вышел на сухое и через сквозной лесок дошел до прилуга: ни скотины, ни жилья, сколь охватывал глаз, не виднелось — только сенокосы, давно скошенные и ухоженные: каждый стожок, чтобы не потравила скотинка, обнесен ошкуренными жердевыми пряслами.

Похоронил Семен незнакомца в лесочке, подальше от берега. В сухом песчаном суглинке малой саперной лопаткой вырыл узкую и не очень глубокую могилку, набросал ветвей, укрыл умиротворенное худое лицо покойника выгоревшей пилоткой и закопал. И только потом подумал, что у солдата должны быть документы и надо бы взять их, узнать, кто и откуда он. Но раскапывать не стал, лишь сломил толстый сухой сук, воткнул его в изголовье, а

на свежий холмик штыком к изножью вдавил лопату.

Посидел у могилки, и тут словно озаренье нашло на Семена — неизбежная и до неправдоподобности жестокая истина открылась ему: он струсил, сбежал. В то же время произошло раздвоение его личности, его «я». Он видел себя со стороны, судил свои поступки, как если бы свершил их кто-то другой. Подобное раздвоение явилось для него тоже немалой неожиданностью, ибо ничего подобного он никогда прежде не испытывал. И, видимо, такое вообще случается не часто, а лишь в моменты больших душевных потрясений, когда человек поступает совсем не так, как хочет, и все, что в нем было доброго и близкого ему, оказывается в прошлом и недосягаемо.

Так вот и с Семеном. Он шел защищать близкий ему город — не получилось. Хотел спасти детей — опять не вышло. Потянулся, чтоб помочь Петру...

А вышло так, что он струсил, бросил товарищей, сбежал. Но мысли эти применительно к самому себе показались Семену жестокой и ненужной напраслиной. В конце концов, можно вернуться. И не так уж он виноват, все из-за Петра получилось. Таких страхов Семен еще не видел: бомбежку, горящий город, тонущих детей и убитого Петра, вернее то, что осталось от него... Страшно! Что тут в прятки играть! Но страшно-то, видно, всем, а убежал он один. Нет, надо вернуться к своим. Но для них и Петр и он, Семен, оба убитые, умершие... Их нет в живых... Нет! И попробуй вернуться, коли ты мертв.

Но он еще жив, жив! А коли так, то, как ни крути,— дезертир. И нет тут иного слова.

Дезертир, бегляк, трус...

Семен лихорадочно искал оправданий и не находил их. Он сидел на холодном волглом кундрачке

у свежей могилки, не зная, что делать, куда идти. И так ему не хватало Егора — братка-то подсказал бы! Вспомнил Настю. Перед тем как ему уйти из дому, она остановила его посреди избы и заставила коснуться рукой матицы — на счастье.

«Вот тебе и матица — счастьице...»

Когда село солнце и синью загустели сумерки, Семен, выбирая мелколесье, зашагал поречьем, вниз по воде, оставляя тускнеющий закат по правую руку.

17

Последние дни лета, но водогной в полной силе. С утра настаивается, выбраживает августовская духотища, к полудню деревенские улочки настороженно затаиваются и лишь с реки, где давно уже установилась обычная послеспадовая межень, не утихают озорные голоса — без устали кувыркаются, барахтаются в речной теплыни ребятишки-водоплясы.

По заберегам ершится остролистая трехгранная ежеголовка вперемежку с округлыми листьями кубышки. В ильменях и култучных водостоях дозревает чилим, в плоты сбило «бабий разум» — темнозеленый бархатистый плавунец, а на раскатах отцветает царь-цветок лотос: сбросил поблекшие безжизненные лепестки, оголил семенник-погремушку, бренчит на ветру орешками, пока те усохнут, ссыпятся и откочуют по воде на новое жительство.

И все же лету близится скорый конец: вечерами с реки тянет прохладой, ночи стали темными, крупнозвездными. Перемены в природе для селянина — прежде всего смена времен года: проходит лето-запасиха, осень вот-вот, а там не за горами и зима-прибериха. И стараются запастись, пока тепло, пока

воздух паутинится, а вода по-прежнему ласковая. В ловецком Понизовье очень важно, чтоб вода не захолодала прежде времени: и рыбку всяк словит, и чилим насушит. А чилим-то, он на все гож — кашу ли с молоком сготовить, в муку ли истереть, а то и просто ядрышками, будто орешками, похрумкать. В верхах картофель с голодухи первое средство, тут — чилим. Не добудешь загодя — беда. Говорят же: запасу нету — будешь плакать по лету.

— Василь Фанасич на два дня всех баб отпустил с покоса,— говорит Лизавета сыну. Она распарывает почти новую мужнину рубаху, чтоб перешить на Васятку. До школы осталось всего несколько дней, и Лизавета напутствует его: — Завтра мы с Варькой рано уедем, а ты у крестной позавтракаешь и в школу топай: книжки, если есть, купи да тетрадки. А нет если, приду, сошью тетрадку — намедни в лавку мануфактуру привезли, я и набрала обертки — белая да гладкая.

Васятка вернулся с лова вчера. На лице загар, руки в цыпках, нос облупился и краснел ссадиной.

— Мама-мам, а мы сома поймали во-о какого!... — Он развел руки, но собственная сажень его не устроила: — В два раза больше меня. Правда, мама. Крестный подтянул его, а я очакушил. А как затих, мы его закуканили и до приемки тащили за бударкой.

Он возбужденно рассказывал о том, как они ставили сомовники, как жили на взморье, а Лизавета слушала со слезами на глазах, удивлялась, будто и впрямь все это для нее ново и неведомо.

Вечером Васятка выпросил листок бумаги и сел писать письмо. О многом хотелось ему рассказать отцу, но едва вывел первые строчки, замялся и положил ручку. Разве интересно, как он рыбачил с

крестным. Отец и без его письма очень хорошо все знает — они с дядей Егором еще мальчишками стали рыбаками. И ничего тут занятного нет. Вот там, на войне,— да! В кино смотришь — не оторвешься. А самому фашистов бить — совсем здорово. Эх, ему бы, Васятке, автомат достать да на фронт. И добраться-то туда совсем несложно. Крестный рассказывал: до Сталинграда поездом всего одну ночь... И отец там. Ох и устроили бы они фрицам развеселую жизнь...

— Ты чего же не пишешь? — Лизавета увидела едва начатое письмо, заглянула сыну в глаза и будто прочла его мысли: — Папка прочтет товарищам твое письмо, порадуется и погордится: сынок, мол, у меня совсем взрослый, рыбу с крестным ловит, матери — помощничек, колхозу — работник. Обо всем и пропиши...

Васятка так и сделал: писал, останавливался, думал и снова писал. А в глазах все время стоял отец: высокий, сильный, вихрастый. И всегда веселый. Мальчик так явственно представлял отца, так зримо ощущал его присутствие, его близость, что однажды, взглянув в темное окно, вздрогнул. Ему почудилось: отец смотрит на него. Васятка протер воспалившиеся, отвыкшие от света лампы глаза. В переплете окна, высвеченные луной, темнели ветви яблони.

Васятка сложил законченное письмо и зевнул.

— Спать давай, сынка,— предложила Лизавета и, отложив шитво, принялась разбирать постель.— Засиделись. И мне вставать до света.

— Ты и сегодня рано ушла.

— На покос, сынка, как же иначе?

— Мам, покос далеко? Возьми меня.

— Учиться те скоро. А сена́-то на Бекешкином острову,

— Мы там яйца грачиные собирали...

— Оттого ты и конопатый такой. Ну, ложись, хватит на сёдни.

— Мам, в Маракаськин ильмень за чилимом поедете?

— В Маракаськином-то — воды по грудь. Под Амбарным, бабы говорят, мели́на. Там ежелетно богато чилима. А ноне будто бы очень крупный — гусь не сглонет, подавится.

18

Сквозь камышовые крепи по путаным кабаньим тропам, разобраться в которых под силу лишь тутошним староселам, продирается Семен под Амбарный. Дорога знакомая, не раз с весновок, когда санный путь уже нарушен, а речные ямины скованы ледяными заторами, ужом проскальзывал он через эти буреломы, по не отопревшей еще мерзлоте, чтоб пополнить запасы провианта до полного распаления, когда плавучие лавки смогут наконец-то пробиться на рыбачьи станы и зимовья.

Знакомая дорога, и все же оторопь берет: куда ни метни глаз — живая стена. Она дышит, о чем-то шепчется. Каждая камышинка сама по себе и не преграда. Но их вокруг — несчетно. Сплетаясь, они образуют трудноодолимые завалы.

Под ногами чавкает хлябь. Невидимые в ночи насекомые порскают при каждом движении, больно секут распаренное лицо.

Душно. К потному телу клеится грубая солдатская одежда. Тяжело дыша, Семен опускается на корточки — кочки твердой нет. Под ногами тина — вонючая, жирная, липкая...

И только раз, ближе к свету, споткнулся о что-то

твердое. Пригнувшись, нащупал: из жижи торчал мшалый хилый пень. Знать, в давние годы струилась тут безвестная водомоина, а позже обсыхающий раздол замело песком, засосало илом. Дерево на яру сгибло, а пень и поныне трухлявится.

Семен присел на пень, вытянул ноги и сразу же почувствовал свинцовую тяжесть в них. В один миг набросились комары: жалят, пищат противно. Дави их, а они пуще прежнего забивают лицо.

Нелегкая дорога, а все же спокойно тут. Шел когда до Морянного, не раз набредал в пойме на хуторки, хитро упрятанные средь осокорей по-над овражками и речными омутами, отшнуровавшимися от Волги. Спасали те же осокори, те же овражки да облесенные омуты. Больше ночами шел, с рассветом бирюком залегал в копну или же в кулижки чакана.

Даже в Морянном страху натерпелся по самое горло. Поначалу надумал Егору, братке, объявиться, чтоб Лизавету не пугать.

Ночь была темной, ветерок озоровал, собаки ладком перебрехивались — лучшего и желать нельзя. Семен терпеливо сидел в бурьяне за валами, которые с незапамятных времен навалены, чтоб сдерживать весенние паводки, а когда село заснуло и лишь редкие оконца мутно желтели от скудных семилинейных ламп, он задами пробрался в братнино подворье и прильнул к щелястой ставенке.

И тут удивительное совпадение случилось, отчего все Семеновы планы мигом нарушились.

Егор в исподнем белье сидел на табуретке у окна и, опершись коленками в подстолье, что-то читал Насте. Та, простоволосая, склонилась над столом, в глазах испуг, рот приоткрыт от удивления.

— Ишь, дерьмо навозное, что вытворяет,— Егор в сердцах отшвырнул газетку и уронил тяжелый воло-

сатый кулак на столешницу.— Против своих идет. Удумал, старостой захотелось стать, партийных выдает, стервец. Повесили — туда ему и дорога.

Попятился Семен от окна да неосторожно — напоролся небритой щекой на сук. Потер ушибленное— липко, в кровь, знать, изодрал кожу.

Лизавета тоже не спала. В руках не то простыня белая, не то наволочка. А Васятка усердно писал что-то. Забилось сердце у Семена сильно и часто, будто о ребра колотится, по всему телу звон пошел. Захотелось постучаться в незанавешенное окно. И он потянулся было, да вовремя сдержался. Показалось, что Васятка метнул глазенки в окно, приметил его. Семен отпрянул и надолго затаился.

Вот тут-то и дошли до его слуха слова про Амбарное. Завтра Лизавета будет там. Пожалуй, лучше и не придумаешь. Никто, кроме жены, пока не должен знать про Семена. Даже Егор. А потому и решил Семен не испытывать судьбу, не задерживаться дольше в Морянном.

Сопровождаемый ленивым собачьим брехом, выбрался за околицу и пошел прочь — к камышам, моря́стее. Вспомнил: лет десять назад тому ильмень Амбарный был заповедным. От того времени осталась в зарослях невеликая полуразвалившаяся сторожка. А вспомнив про то, успокоился: есть куда приткнуться на первое время. А потом...

О «потом» Семен старался не думать. Иногда это ему удавалось, но чаще выходило наоборот: пытался он перевести мысли на другое, а они будто дразнили его. Настойчивее прежнего заглядывали в завтрашний день. Из всего, что передумал он за долгое одиночество, пока топал с верхов до Морянного, два возможных пути рисовались перед ним. Один — совсем как в сказке: налево пойдешь — погибель най-

дешь. И то — попробуй объявись и расскажи все, как оно было, мигом к стенке приставят: не время рассусоливать с каждым. Второй путь виделся Семену более правильным: увидеть своих, пересидеть в камышах войну, не вечна же она, да и махнуть куда-нибудь на север, в тайгу — мало ли там пришлых с далеко не светлым прошлым. Глядишь, и образуется жизнь. Лизавета с Васяткой со временем подъедут... Документы бы хорошие где раздобыть...

Вот такая была теперь жизнь у Семена, и такие вот мысли каждодневно и каждочасно обуревали его.

19

Лизавете с Варькой несказанно повезло: к утренней зорьке задул выгонный верховик. Не такой, чтоб уж очень свежий, но бударку тащил паруском торопко, и они, приготовившиеся часа три — не меньше — ургучить шестом и веслами до самого Амбарного, блаженно отдыхали. Сидеть у руля — не в счет. Варьке было очень даже занятно влево-вправо вертеть румпальником и чувствовать, как послушно поворачивается большая прогонистая ловецкая посудина. И тогда тонкие девчоночьи руки представлялись ей сильными и многое могущими. А как же иначе, если вот так легко, играючи, в односилку управляет отцовской бударкой.

Говорят: две бабы — базар, три — ярмарка. На Егоровой бударке — базар не базар, а разговору не меньше, чем на торжке. Дорога неблизкая, дрыхнуть днем ни Варька, ни Лизавета не свычные, вот и чешут языки без устали.

Голос у Варьки тонкий, сама смешливая — нет-нет, да и зазвенит школьным колокольчиком. Варька,

как и все сельские девчата ее поры, уже имеет парня. Гуляет она с долговязым пареньком по кличке Крот, сыном бригадира сенокосчиков Ивана Кротова. И мастью и ростом парень уродился в отца — вроде бы обновленная его копия. Варька тоже называла его по кличке, а теперь — перестала.

С Лизаветой Варька без всякого стеснения говорит обо всем, что и матери не скажет. Порой Лизавета подивится на девку и не вдруг слова нужные наскребет.

— Теть Лиз, а как вы с дядей Сеней гуляли? — Варькины озорные глаза широко распахнуты, чертики в них беснуются.

— Ну, как... — замялась Лизавета.— Как все... ходили, провожались...

— А за титьки он тя щупал?

— Ва-арь-ка! — Лизавета соображает, что ответить, но та уже не слушает.

— Вот и я ему то же самое. Он чё удумал: шасть рукой под кофточку. Ну я его и огрела. Дура, говорит, все так делают. И пусть, говорю, а мне не ндравится... И не смей...

— Порода у них такая, Варя. Иван, отец-то его, страсть какой блудливый. Он без баб, что гусь без воды,— дня не проживет. Бугай заводской.

— Я свово-то отучу,— храбрится Варька.

— Отошла бы от него, чем всю жисть маяться...— осторожно советует Лизавета.— Парней, что ли, нет других... Вот у Василь Фанасича, председателя, мальчишечка — любо-дорого посмотреть.

— Хи, телок телком.

— Как же, вам — чтоб на одной ноге вертелся. Такой оплетала в два счета мозги затуманит. — Начала сердиться Лизавета.— Накрасит под сарафаном и заглядывай тогда.

Варька насупилась, и Лизавета догадалась, что пора кончать этот разговор. Благо, что и новый тут же отыскался — вспомнила утренние сборы и неожиданно открывшуюся пропажу.

— Ты знаешь, сёдни сунулась в сарай, а сапогов нет. Туда, сюда — нет, и вся напасть.

— Какие сапоги?

— Семеновы, которые перед войной сшили. Новенькие совсем. Все справа в углу висели. Нет вот...

— Найдутся, мож, Васятка куда подевал.

— И я так подумала. Васятку-то не стала будить. Чё мальчонку булгачить.

Перед входом в Амбарный неоглядный плес — Орловская яма. И ширью и глубью не обделен, вода, настоянная на подводных травах,— черная да густая, опусти поглубже ладонь — и не видать се. Омут, да и только: в безветрие щепа с места не стронется — никакой водотечи! Да и откуда? Банк рыбоходный стороной бежит, а вокруг плеса камышовые острова глыбятся. С нижнего конца ямы всего-навсего один зауженный камышами да ежеголовкой обсыхающий перелаз. По нему только и можно в ильмень Амбарный попасть.

— Мелеет перелаз-то,— отметила Лизавета.— В прошлые годы хоть баркас пущай... Слышь-ко: дно скоблится, прихватываем.

— Обратно бродом потащим...

— Ничё, девка, выволокем, перелезем,— успокаивает Лизавета,— зато с чилимом будем.

Пересекли ильмень, остановились у разбросанных мелких чаканных кулиг: глубина тут подходящая, воды до пояса; удобно чилим собирать — и руки вверх не тянуть, и поясницу не ломать. Спешно переоделись во все старое. Лизавета в мужнино, Варька в отцово. В чиненых брюках, рубахах не по раз-

меру, в поршнях-ко́жанцах, сшитых из необделанной кожи, стали неузнаваемы.

Глядя на Лизавету, Варька разозорничалась: подбоченилась левой рукой, правую откинула над плечом и под разудалую припевку зашаркала поршнями:

Пойду плясать,
доски гнутся.
Сарафан короток,
ребята смеются.

— Погляжу, как ты вечером танцевать будешь,— остановила ее Лизавета и бросила шайки за борт. Легкие сосновые шайки, сработанные еще Варькиным дедом Кузьмой, звонко плеснулись, заколыхались на ими же поднятой зыби.— Айда, племяшка...

— Не-е... Ты первая.

— Боишься. Смелая где не нужно.— Лизавета, сидя на закрое, свесила за борт ноги. Хо́лоднем колола вода, проникая в поршни, запупырила под одеждой кожу. И чтоб решиться разом, Лизавета соскользнула в воду: — У-ух! В кипяток будто. Лезь, Варя. Уже хорошо. На парное тело зябко, а так— ничего, терпимо...

Проворные женские руки привычно переворачивают звездчатые водянистые лопухи, срывают колкие чилимины, даже не срывают, а едва касаются пальцами, и перезревшие рогули с легким надтреском падают в ладони. Работалось в охотку споро, уже опорожнили по одной шайке, наполнялись вторые. И тут Варька, ойкнув, взвыла и полезла рукой в штаны.

— Тяпнул?

— Ой-ой,— стонала девка, не переставая шарить ниже поясницы.— Огнем будто ожгло.

— Быват,— успокоила ее Лизавета.— И скажи на

милость, клоп водяной, а в самое нужное место метит. Нет бы в ногу или еще куда...Сластена.

Вскоре Варька успокоилась, замолчала и Лизавета. Так прошло часа два. Каждая из них, наполнив шайку, шла к бударке, высыпала содержимое в трюм, где набралась уже приметная горка, а затем брела в сторону, где лопухи погуще скопились да кучерявятся приметнее, а знать, и чилима больше и созрел сполна.

Лизавета, раздвигая водорость, неторопко брела вдоль чаканной кулиги, когда почудилось ей: кто-то легонько кашлянул в зарослях. Продолжая перебирать в руках лопухи, она подняла глаза и застыла от изумления и испуга. Осунувшиеся немигающие глаза жадно смотрели на нее. Успела разглядеть она и высунувшуюся из зарослей голову: волосы нечесаны, петушатся, лицо в желтой густой щетине — поршень поршнем. В довершение ко всему над головой незнакомца взметнулась рука: он манил женщину к себе.

Лизавета дико вскрикнула и, забыв о шайке, метнулась к бударке.

А Варька засмеялась.

— Чё, и тебя в это самое... нужное место? — спросила она, но увидела мертвенно-бледное лицо Лизаветы и залопотала: — Ты чё, теть Лиз?

— Там...— Лизавета тянула к колку дрожащую руку.— Там... лешак... лешак...

— Какой еще лешак? Наговоришь тоже. А ну пойдем.— Варька решительно и безбоязно двинулась к зарослям. Но брела медленно — мешала вода и густая водорость.

— Не ходи, Варя,— просила Лизавета,— худо будет.

— Тоже мне...— ворчала Варька.— Напридумают

тут всяких лешаков да водяных... Темнота морянинская... Ну где? Тут? Пусто, глянь. Ну иди, иди, чё заробела. Не спала, поди-ко, ночь, вот те и чудится...

Лизавета опасливо приблизилась к Варьке. Девка стояла у той самой кулиги, из которой всего лишь минуту назад тому кто-то глядел на нее.

Кулига пустовала.

20

В ту первую, по прибытии в Морянное, ночь с великим трудом отыскал Семен заповедную сторожку. С ильменя она была отгорожена камышовой гривкой, а вокруг буйно ощетинилось ветловое мелколесье — в те годы его и в помине не было.

Приметил Семен эту землянку лет пять назад — забрел на Амбарный вечеряночку отстоять. С первого же выстрела снял крякового селезня, но подранок упал на берегу, за камышовой гривкой. Вот тут-то и обнаружил охотник заброшенное жилье. Не думал, не гадал, что придется спустя годы вновь прийти к этому порогу, но уже не слу́чаем, а жильцом постоянным.

Уже светало, когда он вошел в мазанку. Обмазка местами еще сохранилась. Мутнели стекла сквозь слой пыли и густую сеть паутины. Покосившаяся дверь была приоткрыта, в образовавшуюся щель втиснулась тугая связка старых звериных следов — еноты шастали, любят они у жилья отираться, объеды подбирать.

Внутри мазанки все обветшало. По краям земляные валки — осыпи со стен, печь покосилась, плита чугунная выломлена кем-то, ножки у нар затрухлявились, но выдержали, когда Семен попробовал присесть,— можно, знать, располагаться.

Семен набрал охапку голенастого белотрава, втащил в землянку и бросил на нары. Стащив ловецкие сапоги (в который раз порадовался, что прихватил их из дому, а солдатские, износившиеся, сунул под копну на повети), распушил белотрав и вытянулся на нарах. Хотел уснуть, но пережитое и мысли, далеко не отрадные, отгоняли сон. Да и комарье ненасытное жалит — успевай только отбиваться.

...В полдень услышал голоса в ильмене, понял, что Лизавета с Варькой прибыли. Пробрался крадуном к ильменю, затаился в колке крайнем и стал ждать. Кажется, вечность целую проторчал в чакану, пока Варька отошла в сторону, а Лизавета приблизилась к нему. Хорошо, что на мелководье стоял да в сапогах, и все равно ноги одеревенели. А дождался — и сам был не рад: с перепугу Лизавета такой вой подняла, еле утек. Не объявишься же при Варьке. Родня родней, а вдруг сболтнет где. Коль не всякая зрелая женщина потайное в себе может схоронить, этой двустволке-вертихвостке и подавно невмоготу.

Вернулся Семен в землянку злой. Прилег на застланную травой лавку, стал размышлять, как ему дальше быть, да и заснул вскорости.

Проснулся он от комариных укусов, гнуса изрядно набилось в землянку. Противно попискивая, они лепились к лицу, шее, рукам. Сон был крепок, и Семен не враз почуял укусы, а вот сейчас, когда гнуса слетелось видимо-невидимо и тело покрылось красными вздутинами и зудело нестерпимо, он вскочил с нар. И отругал себя за то, что давеча не прикрыл дверь.

Подумал: придется в землянке курево разводить, иначе изведет его комарье за ночь. Вот только стем-

неет, иначе не ровен час дым кто-либо приметит... А пока он закурил. Махры осталось всего на две-три закрутки, надо что-то придумывать. Насчет огня Семен был спокоен: кресало у него отменное.

Ночь прошла в чадной избушке. Посередь жилья тлели угли, поверх них, время от времени просыпаясь, Семен клал зеленые ветки, и тогда белесый дым тугими завитками клубился над костром, ближе к потолку завитушки раскручивались в облачка, а по-над самым верхом слоились туманом. Слезились от копоти и гари глаза, но, прикрыв их, можно было спать — комарье, почуяв дым, оставило жилье.

Ближе к свету Семен сходил к ильменю, принес водички в дырявом ведре, найденном под нарами, и, поплескав, затушил курной костерок. С этим же ведерком побродил и по краю ильмешины, стараясь не выказывать себя, хоронясь за кулигами. Когда ведро наполнилось чилимом и кубышками, вернулся в землянку.

Складным ножом резал темно-зеленые в крапинках кубышки, жевал красноватую зернистую мякоть. Чилим был вкуснее, но не вареный и без соли скоро приелся.

В полдень Семен выглянул из-за кулиги: Лизавета и Варька бродили рядышком, будто связанные по рукам. Бударка заглубилась, осела, боковые линейки — вровень с водой, до́бро, знать, поднагрузили. Постоял-пождал Семен и понял — бесполезно.

21

Когда Медведица черпанула ковшом синь полуночного неба и стала опрокидываться на звездное ушко, Семен хозяйски притворил дверь в мазанку.

И вновь — та же дорога, та же темень, та же

вонь болотная. Только до Морянного он не дошел, да и помышлял он не о том — на сенокосах решил попытать счастья.

До острова Бекешкина добрался на утренней зорьке. В предрассветной мгле тут и там горбились стога. Семен, сапогами сбивая с трав росные капли, пошел в дальний конец острова — там, должно быть, лежат неубранные сена́.

И — словно в воду смотрел. У самого яра — две недометанные скирды, вокруг них мелкие копнушки. Тут же, выпятив стальные ребра, стояли ко́сные грабли и волокуша — ею стаскивают спелое сено. А дальше — нетронутые, лишь слегка поворошенные рядки пожухлых трав.

Покос стлался вдоль берега — между камышами и рекой. Как и всюду в Понизовье, камыш тут густ, высок — есть где затаиться.

Горько усмехнулся Семен: куда бы ни пошел, неотступно следовала за ним одна мысль, постоянное волчье желанье — где бы схорониться от людских глаз. Инстинкт самосохранения удивительно быстро научил его безошибочно находить надежное убежище.

И на этот раз укромный уголок отыскал: сырая крутосклонная балка, плутая гривой, петлей выхлестнулась к пажити. Вдоль ложбины стиснутые камышовыми завалами табунками куренились ветлы.

В такой рощице и укрылся Семен: сам невидим, а весь покос перед ним как на ладошке. Один недовершенный стожок-зарод был заложен на отшибе от всех — перед Семеновым логовом. Семен прилег и сквозь реденький частокол диких мальв смотрел на плавающие в тумане сена́.

Цвела мальва. Светло-сиреневые в крапинках звездочки вершинились на стеблях, а по́низу кругли-

лись калачики — туго скатанные в кружочки семена. В детстве с братвой Семен бегал за калачиками, рвал, набивал ими рот. Далекая светлая и безвозвратная пора...

Любил Семен эту пору. Сена́ вызревают тут добрые. Про такое вот говорят: не евши скотиняга сыта бывает. Они с Егором ежелетно накашивали с десяток возов для своих коровенок.

Покосчики — сплошная женота́ да мальчишье — пришли поздно. Ста́ял туман, обсохла росная трава, припекло солнце.

Из-за лесочка вначале показались верховые — мужики не мужики, но и не ребятишки. И от детства отошли и до призыва пока не дотянули. Им, мальчишкам, тоже не сладко: взвалили на свои костлявые узкие плечики колхозные заботушки и тянут вровень со взрослыми...

За верховыми пестро гуртились бабы, лица окутаны разноцветными платками — не разобрать где какая. Но Лизавету Семен угадал издали: рослая, статная, и рубаха на ней его, Семенова. Подол заправлен в юбку, рукава баранками закатаны выше локтей... И голову, как всегда, несет прямо, высоко.

Как захотелось Семену встать и пойти навстречу Лизавете, обнять ее, прижаться к ней, вдохнуть неповторимый запах ее волос. Он прикрыл глаза, и в тот же миг ощущение близости жены охватило его, словно мягкие и теплые ладони коснулись его рук, а тепло ее тела перелилось в его тело...

...Замыкал шествие одинокий мужчина — на голову выше бабьей гурьбы, тучный, русоволосый Иван Кротов. Его Семен тоже сразу признал. Позлобился на Ивана: отъел хря́сину, воюя с бабами. Его на фронт бы, а не природой тут красоваться...

Иван что-то прошлепал губами, тыча пальцем в

сторону недовершенных ометов, и Семену стало ясно — бригадир посылает женщин на сеностав. Выполняя волю старшо́го, женщины разбились на две стайки, сложили в стороне узелки с едой, обступили начатые зароды. Одна за другой повытаскивали из-под валков вилы на прогонистых сосновых черенках, неторопко, как бы выжидая, кто бы начал первым, подхватывали на развилья вороха сухого разнотравья.

Женщин было много, и дело шло ходко, навильники один за другим взлетали наверх, и те, что стояли наверху и вершили стог, еле управлялись.

С луга дыхнуло свежестью, нанесло на балку застоявшийся духовитый запах пожухлых трав. Семен не отводил глаз от Лизаветы. Она орудовала вилами и почти не разговаривала, спросят — ответит, а нет — молчит. Скирду клали в сотне шагов от Семенова убежища, и он хорошо видел жену. Лицо ее было задумчиво, болезненно. И он встревожился: не иначе как простудилась. Два дня бродила в ильмене. И хотя дни теплые, вода она и есть вода.

Тревога его вскоре оправдалась. Лизавета прислонила вилы к дометанному стогу и опустилась возле него. Женщины окружили ее, загалдели. Потом разноголосая стайка с вилами на плечах двинулась дальше, а Лизавета осталась, открытая для него и заслоненная стогом от удаляющихся товарок.

Семен воровато осмотрелся: поблизости никого. Обождал, покуда женщины не отошли подальше, где ребятня граблями и волокушей сволакивала сено, и ужом заскользил меж камышами.

Заросли поредели вскоре, а недалеко от скирды и совсем оборвались. Семен чуть приподнял голову и уже собрался было окликнуть жену, чтоб она узнала его по голосу, а узнав, не испугалась, как позав-

чера под Амбарным, но вовремя заметил приближавшегося к скирде бригадира и вдавил тело в нахолодалую росную землю.

Выходя из-за омета, Иван Кротов воровато оглянулся через плечо на покосчиков и, улыбаясь во все крупное и по-женски белое лицо, прогнусавил:

Лиза, Лиза, Лизавета.
Я люблю тебя за это
И за это, и за то,
Что целуешь горячо.

Услышав рядом голос Кротова, Лизавета вздрогнула, так как его шагов не учуяла — стерня скрала.

— Ты чё удумала, девка? — Иван подсел рядышком.

— Голова раскалывается. И в глазах круги... Я счас, Иван Сафоныч...

— Сиди. Ишь... всполошилась.— Иван за руку удержал ее.— Полежи, отдышись.

— Полегчало, Иван Сафоныч.

— Правду бают: псовая болесть — до поля, женская — до постели. Прилегла на минутку и уже здорова. Мужик сутки валялся бы...

— Пойду.

— Погоди.— Удерживая, Иван обхватил ее плечи.— И слава богу, коль здорова. Да и работа не медведь. Успеется. Всего-то не переделать. Посидим малость, и... как говорится... поищемся, а?

— Срамно говоришь, пусти-ко.

— Строгая ты. Жить, Лизавета, надо припеваючи, свободно, пыльно жить. А ты святошей живешь, будто девка непочатая. Эх, приглянулась же ты мне, Лизавета. Кабы и ты ко мне... душой всей,— он притянул ее к себе.

Семена передернуло всего, по вискам молотками застучало, сердце рвалось из груди. «Свинья ры-

жая, — думал он,— пялит глаза на чужую жену, лапает, гад...»

А Иван, удерживая вырывающуюся Лизавету, заглядывал ей в лицо, уламывал:

— Чё те стоит в гости позвать вечерком, а? Только помани, я мигом, потому как ты для меня...

— Ох и кобелина же ты, Иван Сафоныч,— усмехнулась Лизавета и, вырвав руку, приподнялась. Иван, видимо ободренный улыбкой, обхватил ее за колени и повалил под зарод.

— Пусти! — вскрикнула Лизавета, но Иван успел прикрыть ей рот ладонью, и голос женщины был еле слышен.

— Приду я сёдни, а? Экая ты муженравная... Мягчее бы ко мне, мягчее, тебе же и лучше будет. Где освобождение дам, где лишку припишу,— хрипел он Лизавете в лицо, подминая ее под себя.

...И тут, высекая из глаз искры, что-то огромное и тяжелое толкнуло Ивана в висок и на какое-то время лишило его возможности что-либо видеть, слышать, соображать. Он мешком свалился у стога.

Лизавета испуганно ойкнула и в тот же миг опознала мужа, а опознав, затрепетала, стиснула ладонями свое лицо и заголосила. Не от обиды, нанесенной ей бригадиром,— от нежданно нахлынувшего на нее счастья. Да и что может испытывать жена, проводившая мужа на верную гибель, а тут вдруг увидевшая его живым, невредимым...

Семен, не сказав ни слова, шагнул к жене, обнял за плечи и утопил лицо в ее пахучих волнистых волосах. И вмиг забыл обо всем — об Иване, который что-то мычал под ногами, о покосчиках, которые, услыхав Лизаветин плач, с любопытством глазели издали, о своем волчьем положении... И Лизавета успокоилась, затихла.

Между тем Иван пришел в себя, с превеликим трудом одолевая кружение и звон в голове, встал и прислонился спиной к омету. Он узнал Семена — грязного, обросшего, в рваной солдатской гимнастерке и ловецких болотных сапогах, и не только узнал, но и все понял.

— Тудыт-та твою... семь гробов, с фронту драпанул! — во всю мощь легких зашумел он.— Колхозников, гад, убивать? Э-ей, ба-а-бы-ы, давай сюда.

— Цыц, прокудник,— Семен, очнувшись, сжал кулаки и подался к Ивану,— солдаток притесняешь! Врублю вот заушину...

—Сеня, не надо! — закричала Лизавета. И Кротову: — Чё горло дерешь, какой он те беглец? — Возмутилась. А сама с тревогой глянула в глаза мужу и вдруг узнала их — уставшие, жадные, осунувшиеся. Точно так же они жгли ее позавчера, под Амбарным...

— Давай, давай, обороняй тягуна!.. — мстительно кричал бригадир.

Лизавета не слышала его слов, не видела, как к ним бежала шумливая толпа и запоздало догонял ее на рыжей косматой лошаденке такой же рыжий мальчонка. Нахлестывая лошадь, он что-то кричал вслед женщинам, сам еще не понимая, зачем и куда бегут они.

Когда женщины разноголосым пестрым полукружьем оцепили мужиков, Лизавета лежала без сознания. И то, что напротив бригадира, сжав кулаки, стоял готовый к драке грязный щетинистый не ихний человек, и то, что их товарка недвижным кулем распласталась на стерне, привело баб в неописуемый страх. На какое-то время на них напала немота.

— Не узнаете, бабоньки,— злорадствовал Кро-

тов.— Гостюшка-прихлебатель объявился. С фронту дезертировал.

Бабы загалдели:

— Никак мужик Лизаветин?

— Он, бабы, крест святой, он...

— Дядь Сень! — Варька вскрикнула, шагнула к нему, но в страхе остановилась.

Семен затравленным зверем озирался по сторонам, не зная, как же ему быть дальше: не хотел и Лизавету в таком состоянии оставлять, а и ждать что-либо было глупо.

А Кротов распоряжался:

— Вань,— крикнул он верховому пареньку.— Скачи до волокуши, хребтину тащи. Бабы, что рты поразинули? Хватай дезертира, вязать будем.— И двинулся на супротивника.

Семен, пятясь к стогу, зыркнул на толпу. Бабы стояли недвижно и враждебно, словно на чужака, смотрели на него из-под угрюмо насупленных бровей.

Отступая, Семен споткнулся о солодковый корень и повалился навзничь. И в тот же миг Иван бросился на него, но не рассчитал. Спружинив ноги, Семен ударил его сапогами в грудь, опрокинул на жнивье и мимо расступившихся в страхе баб кинулся в крепь.

22

Серебристые тенетники невесомо плывут и плывут над землей, пока не зацепятся за былинку. И Лизавету опутывали шелковистые паутинки. В другое время, морщась от лоскотного прикосновения, она снимала их с лица. Сейчас же ничего не замечала, не видела — ни ясного солнца, ни раз-

дольного луга, которым каждодневно любовалась, проходя на покос и обратно, ни крикливой стайки гусей, тянувших с холодных краев к приморским россыпям песчаных кос. Не до них женщине... Горе неподъемное, непомерное навалилось на нее.

Пришла она в себя скоро, сразу же, как только Семен скрылся в крепи, и увидела в опрокинутом небе лица. Узнала — подруги. Смотрят сочувственно, в глазах слезы застоялись. Большие черные Варькины глаза распахнуты в испуге. До крови закусив губы, она не отрывала глаз от Лизаветиного лица. Лизавета всхлипнула и, повернувшись, уткнулась лицом в колкую стерню.

Спустя малое время встала. Бабы недвижно и скорбно стояли возле. Когда Лизавета поднялась, бабы расступились, и она пошла. Одна, простоволосая, руки плетьми по бокам, платок головной бьется у ноги, цепляется за отаву. Бабы двинулись было следом, да Иван Кротов вернул их, оставьте, мол, одну. Поглаживая ладонью ушибленную грудь, махнул рукой:

— Айдате по местам! — Подозвал Варьку шепотком, чтоб не дошло до посторонних ушей: — Иди, присмотри. Не дай бог, еще порешит себя. Проводи домой...

Варька шла следом, не отставая и не решаясь приблизиться к Лизавете, а та не замечала ее. Так они прошли весь остров из конца в конец, вышли к броду. Река тут перекатистая, дно — песок да ракуша. Побрели — словно по сухому пошли. Лизавета, не доходя до бережка, наклонилась, поплескала на лицо и, обернувшись на всплески за спиной, с удивлением посмотрела на зареванную Варьку.

— Ты что?

— С тобой. Иван Сафоныч приказал.

— Вернись,— тихо сказала Лизавета.—Одна дойду. А ты иди. Дел, сама знаешь, сколько. Иди. И я бы не ушла, да не могу, ей-богу, не могу, Варюшка...— И пошла. А Варька вернулась — у Кургановых не привыкли к ослушанию.

Сегодняшнее утро Лизавета встретила как праздник: Васятке в школу, а самое главное, первое сентября — Семенов день, мужнины именины. Кургановы в прежние годы застольно отмечали день его рождения. Как всегда, в этот осенний перводень — тишь, краснопогодье.

И надо же такому случиться именно сегодня! Ах, Семен... Семен, что же ты натворил, непутевый человек,— подумала Лизавета.— И что теперь будет с тобой. Да и мы-то, как... Егору как сказать? Озверится — не подойдешь. И то — сраму не обобраться... А тут Настя занедужила всерьез. Все одно к одному. Пришла беда — навестит и другая, не затворяй ворота.

Болела Настя давно и стала частенько поговаривать о смерти. Как-то она сказала сношельнице:

— Матушка моя, бывалось, говорила: не помню, когда крестилась, не заметила, как состарилась, не знаю, когда умру. А я вот знаю — скоро.

— Будет те беду кликать,—горячо возразила Лизавета.

— Второй день ни росинки, ни просинки во рту. Не принимат душа еду, в желудке и день и ночь свербит. И постель заиндевела — нет от меня сугрева никакого.

В другой раз пожаловалась:

— Егор аршин на кровать положил. Невзначай, конечно...

— Ну и что? — спросила Лизавета.

— К покойнику...

— Беда с тобой, Настя,— осерчала Лизавета.— Мало ли что куда положат! Васятка мой в постель все тащит: и молоток, и отвертки... Только что бударку не осилит...

Настя лежала в задней половине, на широкой деревянной кровати. У изголовья в углу избы чернела крохотная, малоприметная иконка Николая Угодника, ловецкого покровителя. Егор частенько поругивал жену за набожность. Настя молчаливо сносила мужнину ругань и, если он уж очень ярился, набрасывала на гвоздь над иконкой какую ни на есть тряпицу — занавешивала лик.

Лизавета, не заходя к себе, прошла в Егорову избу. Еще дорогой думала, как сказать сношельнице про случившееся, и не могла ничего придумать. И сейчас, переступая порог, побледнела белой скатертью, не в силах унять дрожь в теле.

Из-под лоскутного одеяла с подбоем из цветастого пестрого ситчика выглядывало Настино лицо — глазастое, исхудалое, морщинистое. Увидев Лизавету, она заголосила на всю избу, запричитала с надрывом:

— Сокол ты наш ненаглядный... И где ты сложил свою буйну головушку... На кого ты спокинул дитятко родное, кровинушку свою...

Лизавета уставилась на нее с немым удивлением.

— Семен, Сеня пропал,— голосила Настя и, высвободив из-под одеяла руку, сунула Лизавете бумажку. Ничего не понимая, Лизавета развернула ее, прочла: «...Ваш муж... красноармеец Семен Кузьмич Курганов... пропал без вести...»

Она устало опустилась на табуретку у изголовья кровати и, часто моргая, бесслезно глядела на притихшую Настю, которая, собираясь утешить сношельницу, подбирала нужные для такого случая

слова, но Лизавета молчала, и молчание это становилось тягостным и пугающим.

— Поплачь, Лизка, пореви, дуреха... Ну что ты одеревенела?

— Живой он, Настя.

— Знамо, живой. Не погиб же, без вестев пропал,— заторопилась старшая.— Найдется, бог милостив.

— Живой он,— повторила Лизавета.— Видела я его.

— Ну вот опять за свое... Поплачь, говорю, и пройдет...

— На Бекешкином видела...

— Христос с тобой, Лизка... Чё он забыл на Бекешке-то.

— Беглый, беглый он! — выкрикнула Лизавета и дала волю слезам.

23

В этот день Насте стало совсем плохо. В предвечерней просини источенное хворью лицо словно окаменело. Она дважды теряла сознание — без стона, без боли, будто засыпала — и так же тихо приходила в себя. В уголках больших черных глаз копились слезы, двумя росинками лоснились на потемневшем лице.

— Ушицу сварю? Васятка бершат наловил.

Настя покачала головой — не надо.

— Егор когда придет? — тихо, но внятно спросила она.

— Должен быть,— неопределенно ответила сношельница.

— Хозявы! — Это со двора кто-то окликнул. Ли-

завета сорвалась с табурета, выбежала на веранду. Рассыльная сельсоветская.

— Сасан зовет.— И добавила доверительно: — Из району какой-то прикатил. Сапоги хромовые, сам в форме. И не разобрала — мильцанер аль военный...

Похолодело внутри у Лизаветы — началось. Чуяла, что будут таскать по начальству разному, но не думала, что так скоро молва докатилась до района.

...В Совете за председательским столом Лизавета увидела средних лет строгого мужчину в наглухо застегнутом френче с какими-то знаками отличия на воротничке — в них она не разбиралась, как и в форме одежды, а потому и не могла понять, что перед ней начальник райотдела НКВД. Почуяла, однако, что начальство немалое, коль Сасан уступил ему свое законное место. Прибывший был лыс, широколиц. Отсутствие волос на голове с лихвой уравнивалось пышными усами, квадратной бородой, начинавшейся где-то за ушами, и сердито насупленными щетинистыми бровями, отчего казалось, что лицо этого человека сместилось наверх, а место лица заняла густая шевелюра.

Сасан расположился у торца своего стола и не спускал с приезжего раскосых удивленных глаз. Приезд в Морянное самого большого начальника из райотдела НКВД был для Сасана происшествием из ряда вон выходящим, как и сам случай с Семеном.

— Хади сюда, кзым,— сказал председатель Лизавете, остановившейся у дверей.— Садись, дочка, садись.

Наезжий вскинул строгие глаза на Сасана, но ничего не сказал ему. Надел тяжелые роговые очки, пошелестел бумажками и, набычившись, глянул из-под бровей на Лизавету.

— Ну-с... слушаем, Курганова.

Непривычно сухой тон, с которым районный начальник обратился к Лизавете, удивил ее.

— А чё говорить-то?

— О Курганове Семене Кузьмиче, бывшем вашем муже...

— Это отчего же... бывшем? Он меня не бросал...

— Он дезертир, враг. Вы это понимаете?

— Н-ну... конечно.

— И вы согласны оставаться женой врага?

Лизавета потерянно молчала, не зная, чего добивается от нее этот сердитый заезжий человек.

— У вас есть дети?

— Один, Васятка.

— Вы чувствуете, как это будет звучать: сын врага народа.

— Дите-то при чем,— вскинулась Лизавета.— Иль мы ему наказывали бежать... Выходит: один в грехе, а все в ответе.

Постучавшись, вошел Иван Кротов и у порога, стащив с головы покоробленную выцветшую соломенную шляпу, поздоровался почтительно.

— Желаем здравствовать. Вызывать изволили?

— Иван Сафонович Коротов?

— Кротов, правильно,— поправил Иван.

— Хорошо. Садитесь.— И Лизавете: — Скажите, Курганова, почему вы, зная о случившемся, не заявили в Совет?

— Бабы видели... И вот этот тоже,— она кивнула в сторону Кротова.— Чё мне таиться. А потом... Настя тяжелая.

— Какая Настя?

— Сношельница.

— Егора баба,— подсказал Сасан.— Килендаш.

— Как вы сказали?

— Ки-лен-даш,— врастяжку повторил старик и пояснил как умел: — Это когда два брат два баб замуж берет...

— Килендаш,— приезжий улыбнулся и записал непривычное для него слово.— Запомню. Казахский хочу поучить, поскольку вашего брата в районе немало. Ну так что, Курганова, хотела сказать про сношельницу?

— Хворая она, тяжелая. Вот и сидела при ней. Егор-то на низу.

— А где сейчас... э-э...— подыскивая нужные слова, он замялся,— ваш муж?

— Семен-то? На Бекешкином видели. Там, должно быть.

— Вам известно, что за укрывательство врага вас будут привлекать к ответственности и что вы обязаны сообщить немедленно, если узнаете, где он скрывается? Ясно?

— Понимаем, как не понимать.

— Теперь вы, Кротов.

— Точно так, Кротов Иван Сафонович.

— Расскажите, Кротов, как все было.

Иван встал и, теребя и без того измочаленную шляпу, сказал:

— Значит, так. Сидим с Лизаветой под стогом... Она прихворнула малость. Ну и, понятно, бабы... виноват, женщины-колхозницы говорят, отдохни, мол. Она и...

— Может, специально осталась одна, чтоб встретиться?..

— Не могу знать.

— Да что вы, товарищ начальник. Иль креста на вас нет?!

— Креста действительно на мне нет. Продолжайте, Кротов,

— Да, сидим, стало быть, о здоровье ее пытаю...

— Ты правду скажи, кот,— перебила его Лизавета.— Как уламывал, чтоб сударушкой твоей была.

— Наговор, товарищ начальник. Наговор. У меня семья... сын взрослый... И я, как считаюсь колхозный актив, буду путаться с женой нашего общего врага?

— Кралей хотел своей сделать, а теперь... «общего врага». Молотит что ни попадя, балабон.

— Курганова, соблюдай порядок.

— И чё вы ко мне пристали! Ловите, коль враг он, и делайте с ним чё хотите. А то — Васятку виноватят...

24

Районный начальник знал, чем и как донять Лизавету — имел он по этой части немалый опыт. Не раз приходилось ему еще до войны вести долгие беседы то с женой, то с мужем обвиняемого в тех или иных грехах, отваживать их друг от друга, спасая тем самым падшие, вошедшие в контакт с преступником души.

Лизавета с того самого мгновения, как услышала, что слово «враг» связывают с ее сыном, не могла прийти в себя — будто удавку на шею ей накинули. Там, в Совете, с удивлением и страхом рассматривая волосатое лицо и клеенчатую гладь плешины наезжего, она вначале возмутилась тем, что он говорил о ее сыне и Семене. Но дома, оставшись наедине со своей бедой, будто отрезвела и почувствовала, что никакого зла к человеку, допрашивающему ее, нет.

Все чаще в мыслях стала она примерять к Семену колкое и пугающее слово «дезертир». Им и

прежде обзывались. С путины до часу кто снимется — дезертир. Из колхоза в город кто сорвется — опять же дезертир. И ничего, побранят, бывало, заклеймят, да и забудут причинника виновности.

Но по нынешним дням дезертир — страшное слово, враг — тут иного слова и не подобрать.

Так кто же теперь он, Семен ее, коль и его, коренного морянинца, и фашиста-инородца одним словом называют? Дошла Лизавета в своих думках до такого вопроса, и будто сердце в груди сдвинулось, словно чужими глазами увидела мужа. И ужаснулась его провинности.

Однозвучно тикают ходики. Сладко сопит Васятка на сундуке, рядом с кроватью матери. А Лизавете не спится. Глаза широко распахнуты, шарят по тускло отсвечивающему потолку.

Баба с печи пока летит, семьдесят семь дум передумает, а тут ночь целая! Корит в мыслях Семена: не дошел умом до завтрашнего дня, не подумал о Васятке, ее не пожалел, Егора с девками. Вся печаль и заботушка о себе только. А чем теперь обернется все — богу одному известно.

Ох, думки, думки. Не зря говорят: дума — не кума, лишит ума. Представила Семена одного в камышах. Ни крыши от непогоди, ни полога от гнуса, ни крошки еды, ни слова людского. Жалко стало Семена — живая душа. Навернулись на глазах слезы, холодными букашками поползли по вискам.

...Лизавета вздрогнула, заслышав шаги во дворе. Он? Соскользнула с кровати и прилипла к боковому окну. Кто-то, пригибаясь под ветвями, шел от пролома в плетневой меже, отделяющей их двор от Егорова.

Ближе, ближе... Неужто Семен? Нет, Варькин росточек. И вроде бы облегчение почувствовала, что не Семен, но ту же всполошилась: что еще стряслось?

Варька не успела на рундук подняться, в распахнутую навстречу дверь выглянула Лизавета в светлой ночной рубашке, прикрытой на плечах и спине россыпью волос.

— Мама зовет, плохо ей,— голос у Варьки заплакан, осел.

Лизавета в чем была, на босу ногу сбежала по ступеням и метнулась к пролому в плетне.

25

Не годы седят человека — горе. Две непоправимые беды навалились на Егора, будто двумя полубочьями кипятка окатили его: весть о Семене, а следом и смерть Насти.

Приехал Егор в день смерти Насти, но привели его в Морянное слухи о брательнике — до взморья дошли. О Настиной кончине и знать не знал. Подъезжая к селу, увидел толпившихся на кладбищенском бугре мужиков. Понял — могилку мастерят, но про жену и думушки никакой не было. Болела, правда, шибко хворь донимала ее, но чтоб так скоро Настя оставила их, и в мыслях того не допускал Егор. А вошел во двор — остолбенел: старушки снуют взад-вперед, бабы кучатся у крыльца...

Как вошел, сколько времени пробыл у изножья гроба — не помнит. Стоял тихо, бессловесно. И не слышал, как его успокаивали:

— Чё уж... Все там будем...

— Мертвого не воротишь.

— Знамо... С погоста не несут.

— Покойнице наше смиренье нужно.

Старухи в черных платках, похожие одна на другую, заботливо припоминали обычаи:

— Стакан с водой поставьте на подоконник. И шесть недель не замай, слышь-ко, Лизавета.

— Утиральник тоже на угол избы со двора повесить не забудьте.

И шепоток, настораживающий, сожалеющий, но со значеньем:

— Тело у покойницы талое, не иначе еще кто...

— О господи, помилуй.

— Ворон каркает опять же.

Тихий, но внятный окрик вспугнул старух:

— Раскудахтались. Оне кажинный день каркают... Чё вы тут...

Отнесли Настю, зарыли. Поминали затем покойницу, выпили по стопочке-другой и разошлись. Егоровой избой на ночь завладели старухи — ночевать остались, богу помолиться о Настиной душеньке. Лизавета — двое суток без сна — устало моталась меж избами: поила чаем старушек, кормила и укладывала спать в своей горенке оравистую семейку: сироток и Васятку.

Егор, молчаливый и скорбный, бесцельно бродил по своему и братову подворьям. Пока хлопотал, провожая жену в недалекий, но последний и невозвратный путь, ни сам, ни кто иной не приметили той перемены, что произошла с ним.

Когда схоронили покойницу на сельском погосте и Варька, давясь слезами, сняла покрывало с зеркала, Егор обнял дочь и впервые за эти дни заплакал, по-мужски всхлипывая, дергаясь могучим сбитым телом. Успокоившись, он увидел и Варьку и себя в зеркале, тронутом желтыми разводами. Что-то непривычное почудилось ему, и не вдруг он понял,

что причиною тому сплошь заиндевелая, вчера еще цыганская кудерь.

И дочь приметила густую седину в отцовской голове, потянулась, потрогала ладонью и вновь заплакала.

Не зная, куда себя деть, брался Егор то за одно дело, то за другое: поколол малость чурок для самовара, помахал мотыжкой на грядках — выронил из рук. Темень застала его на ступеньках предбанника. Опершись локтями в колени, одну закрутку за другой курил крупный сизодымный самосад. Затягивался глубоко, всей грудью, самосадное крошево потрескивало, немочный огонек малиновой головешкой скупо высвечивал медное от загара лицо, неподвижные красные глаза.

— Братка...

Заслышав шепот, Егор вздрогнул, но голос братьника узнал. Оглянулся, высматривая Семена, но тот выжидал, не показывался.

— Ты где... затаился?

— Тише, братка.— Шепоток просительный. И сам Семен уже о бок стоит, напружинился в коленях, пригнул голову, пугливо озирается.— В баню зайдем.

Нехотя поднялся Егор с рундука и вошел следом за братом. Сказал, будто в спину кулаком долбанул:

— На всю округу ославил, а теперь просишь «тише» да в бане хоронишься.

В квадратный без переплетов оконный проем проникал скудный отсвет луны. На черном фоне потемневшей сырой стены бесформенным пятном белело Семеново лицо — больше Егор ничего не мог различить — ни глаз, ни выражения лица.

— Настя-то... а? — Семен шмыгнул носом.

— Да... Настасея спокинула нас.— Егор, глуша слезы, стиснул зубы и сквозь вздрагивающие ноздри

со свистом втянул в себя прелый влажный воздух.

В эту минуту Егору было не до брательника. Горе, необоримое и так неожиданно навалившееся на него, вновь овладело всем его существом. Егор долго молчал, стараясь если и не погасить, то хотя бы приглушить в себе боль. И когда ему это удалось в малой доле, его мысли опять обратились к Семену.

Еще на лову, когда Егор узнал о дезертирстве брательника, душевному расстройству и гневу его не было предела. И слова недобрые, вперемешку с непристойными ругательствами, срывались с языка. Хотелось скорее повстречаться с Семеном, отлаять, пристыдить, высказать все, что было на уме.

Но вот братья сидят один подле другого, а Егор не в состоянии найти нужные слова, чтоб начать тяжелый и неприятный для обоих разговор. Да и какой смысл размахивать кулаками после драки — ругаться и стыдить, если ничего уже нельзя изменить, и Семен, его единоутробный брат, сутулится рядышком, тогда как место его там, где остались товарищи и где он должен быть, чтоб оборонять свою землю, своего сына, родительские могилки...

Семен мог и должен был совершить то, что намечено ему, солдату, но не совершил, оттого-то и попал в то гнусное и безысходное положение, когда человек никому не подвластен, кроме правосудия. Даже самому себе, даже своей воле. Этот правосуд, конечно же, свершится. Все дело лишь во времени.

Истина эта открылась Егору сразу же, как только он увидел Семена — безвольного, отрешенного, с пугливым, еле слышным голосом.

Защемило в груди от такой догадки, потому как, что там ни говори, а брат он ему, кровь родная. Оттого и не рождались в голове те резкие слова, которые Егор готовил для брата.

— Ну, а ты-то... ты как теперь?

— Что ж... виноват, братка,— еле слышно отозвался горевавший Семен.

— Так рази я об этом... Про вину чё теперь болтать? Знамо, виноват. И не только ты. Видно, я вболванил те в голову не то, что нужно. Не сумел человеком тебя исделать. Вот и казню себя за то.— Егор начал сердиться: — Радовался, дурак, мол, послушный брательник у меня, почтительный... А ты тенью моей стал, за братниной спиной, братниной головой жил... Калган на плечах большой, а безмозглый. Сеном, видать, набит да трухой припорошен. Шкуру свою сберег, а про сына свово не помыслил. Умом и сердцем в ночи живешь. Самого главного в жизни, выходит, не понял. Шкуру сберег, а душу испоганил. Теперь что ж — невылазно в камышах куковать будешь?

— Авось обойдется...

— Один держался за авось, да сорвалось. Чё алалачиничаешь попусту!

— Лизавету бы мне увидеть...

— Увидишь, никуда не убежит. Жить-то как будешь, спрашиваю? — закричал Егор, уже не в силах сдерживать себя.

— В Сибирь... али еще куда...

— В Сибирь успеешь, не сумлевайся... Упекут еще.

— Я бы тайком туда... Паспорт бы достать какой ни на есть...

— Вон как! — удивился Егор Семеновым словам.— Ты это брось. И совет мой: иди, объявись властям. Будь что будет. В штрафную, мож, пошлют, а то — на каторгу.

— Трибунал... Он сразу... к стенке...— Семену трудно давались слова.

— Может, и так,— выдохнул Егор.— Ты и тут не жилец... Себя уже пережил. Все, что было к тебе: от людей —уважение, от семьи — любезности. Скорбно все это... Лучше бы уж в прошлый раз с меня бронь сняли... А Лизавету сейчас пришлю.

Глухо захлопнулась дверь. Тяжелый холодный воздух толкнулся в ушные перепонки. Семену трудно стало дышать, и он вышел в предбанник. Тут и дождался жену.

В приоткрытую дверь видел: она бежала без опаски, звонко застучала шлепанцами о ступени. Остановившись в дверях, окликнула:

— Сеня?

— Что орешь! — оборвал он ее. Обида от Егоровых слов еще жгла душу. Оттого и вскинулся на жену.

Грубый окрик будто отрезвил женщину.

— Сам же звал-то...

— Ну и что, что звал. На всю улицу кричать? Сговорились будто. Ты расшумелась, а Егор отмочил еще хлеще — иди, мол, объявись...

— Не сердись, горе у него...

— А горе — так все ему можно? — взвизгнул Семен.— Меня к стенке, стало быть, а он чист... Так?

— Что ты мелешь, Семен.— Лизавета понимала состояние мужа, а потому и не сердилась на него, говорила ласково, успокаивающе. Она подошла ближе, положила руки ему на грудь и, стараясь разглядеть мужнино лицо, спросила;

— Жить-то как будем, Сеня? — И ткнулась лицом ему в плечо.

Семен засопел тревожно и, чтоб прервать ее слезы, спросил:

— Васятка где?

— Спит он...

— Посмотреть хочу. Я тихо, не разбужу.

— Не надо, Сень. Проснется вдруг и увидит...

— Он не знает?

— Берегут люди-то, не сказывают. Да проговорятся... На каждый роток не накинешь платок.

— Пойдем,— Семен вцепился в запястье жены и потащил из предбанника.

— Куда?

— Васятку посмотрю.

— Не надо, прошу тебя.

— Не хошь? Ну я сам.

— Нет! — Лизавета, раскинув руки, встала на тропе. Заговорила горячо: — Нельзя, Семен. И прошу тебя... уходи.

— Как?! Куда уходить-то? — В отчаянии, забыв опаску, вспылил Семен: — В камыши?

— Никто не неволил тебя, сам. Все у тебя набекрень, не как у людей.

— Чтоб как Петра Балаша? А я жив, жив еще.

— На меня ты сердце не держи, Сеня. Только радости от твоего возвращения мне нет. И Васятке жизнь покалечил. Лучше бы уж... О господи!

— Ах, вот как, мать твою...— Семен грязно заматерился.

— Сделай, как Егор велел. Прошу тебя, Сень...

— И ты туда же.— Спросил с вызовом: — Стало быть, не нужен?

Лизавета плакала, размазывая слезы по пламенеющим щекам.

26

С того самого дня Семен будто сквозь землю провалился: и его никто не видел, и сам домой не заявлялся. Лизавета, наплакавшись, собрала ему кое-

что из съестного, пару коробков спичек, бритву, кусок хозяйственного мыла, тайком от Егора отсыпала из его запасов пять стаканов рубленого самосада. И Семен ушел — будто не наяву, а во сне являлся.

Лизавета стала помаленьку успокаиваться, насколько это было возможно. По-прежнему ходили они с Варькой на покос: стога-последыши дометывали. Дети оставались без призора. Солонин особо не настаивал, но посоветовал:

— Ребятенки одни, может, с ними останешься? Найдем в селе работу полегче.

Лизавета заупрямилась:

— В моем положении, Василь Фанасич, за двоих вкалывать надо. Чтоб ни меня, ни детей не попрекали...

— Ну-ну,— Солонин укоризненно покачал головой,— дети-то при чем? — А про себя отметил: с характером бабенка. От такой Семен поблажки не дождется.

Егор был на лову. В редкие наезды домой — о Семене ни слова, да и на Лизаветины расспросы отвечал односложно, нехотя, словно судьба брательника была ему безразлична.

Но Лизавету не проведешь: чует ее сердце, как переживает деверь, как печалится он.

Варька неумело, по-девчоночьи пытается всякий раз успокоить Лизавету.

— И чего ты убиваешься, теть Лиза. Он не подумал о тебе, а ты... Мне его вот нисколечко не жалко,— Варька неодобрительно качает головой.— А ты у нас хорошая... самая близкая после мамы.

— Дуреха ты моя милая,— печально говорит Лизавета.— Встретишь человека, выйдешь за него, тогда и поймешь что к чему.

— Подумашь... молиться на него? — Варькина хитрость очевидна, не научилась лукавить. Ей, еще не видавшей по-настоящему жизни, многое непонятно в событиях последних дней и тем не менее очень жаль дядю Семена. Но она старается скрыть эту жалость, высказать свое неодобрение его поступкам и тем самым успокоить Лизавету.

Да разве только Варька? Как-то на зорьке выгоняла Лизавета коров после дойки — свою и Егорову. Глядь — навстречу Сасан топает не спеша, ссутулился, руки за спиной, на пояснице, сложены, и портфель ученический по лодыжкам поддает. К чему, казалось бы, ему-то, председателю Совета, в рань такую на ноги вскакивать? Да обвык за долгую крестьянскую жизнь. А просыпаются в селе рано. И не потому, что зарю проспать — рубль потерять, а оттого больше, что дел в хозяйстве на полный световой день хватает да еще и остается. Ну и рубль лишний в доме — не помеха.

Так вот и повстречался ей Сасан. По своей природной учтивости он издали и, как всегда, первым поздоровался с женщиной. Лизавета в ответ поклонилась.

— Как дела, кзым? — Сасан долгим и внимательным взглядом ощупал ее лицо, стараясь понять все без лишних слов.

— Приходил...— Промолчать бы Лизавете, да разве от Сасана можно что скрыть. Не скажешь, так сам догадается. Да и привыкли морянинские бабы к старику, к его добрым помыслам и делам. Оттого и не имеют от него секретов.— А еще раньше, как за чилимом ездили, под Амбарным видела. Только испугалась я да закричала. Варька-то ко мне метнулась, а он... в камыши.

— Уй-бай! — Сасан трубочкой вытянул губы и

застыл от удивления. Затем зыркнул глазами вдоль улицы и скороговоркой, еле различимым шепотом сказал: — Тихо, балам, молчи. Сам своя тюрьма сажаешь. Семен шибко дурак, зачем домой ходил? Уй-бай, Лизавет, никому не говори, мне тоже не говори... Ты, кзым, никак не виноват.

И пошел своей дорогой, еще больше переломившись в пояснице. Лизавета не успела и десяти шагов отмерить, старик окликнул ее:

— Сапсем забыл, кзым. Вчера Егору наказал, чтоб домой ехал. Послезавтра приедет районный начальник, твоя который вызывал. Егора видеть хочет, говорить с ним хочет.

27

Над камышовой крепью — половодье солнечного света, а в землянушке, словно в логове зверя, полумрак. В темных углах, нагоняя тоску, назойливо пищит комарье. От потухшего костерка тянет сырой холодной гарью.

Семен лежит на полати. Скуластое лицо в рыжей щетинке. Впалые глаза недвижно уставились в серый, сплошь в тенетниках, камышовый двускатный потолок.

Но ничегошеньки Семен не видит и не слышит. Весь он в думах, тяжелых и безрадостных. Правду говорят, что солью сыт не будешь, а думою горю не поможешь. Даже наоборот: дольше думка — лишняя скорбь.

Скоро две недели, как был дома. Лизавета самое необходимое собрала, а котелок и еду Семен сам прихватил. Рыба, чилим, ягоды — всего тут вдоволь. Коренья-чушатники собрал, на огне подсушил — тоже еда. Дважды дичины попробовал: кашкалдаки —

курочки болотные — когтистыми лапками в сети запутались. Жить, одним словом, можно, с голоду не помрешь. Однако невмоготу Семену это сытое звериное житье. Дням счет потерял: то с утра мертвенный длинный сон морил его, то ночи напролет лунатиком бродил по камышам вокруг жилья своего, подолгу стоял у берега ильменя, завороженно глядя на холодную лунную отсветь воды. Страшиться стал: не помешаться бы разумом.

Отверженный людьми, словно кабан-одинец, что под старость отбивается от стада и одиноко доживает дни свои в непролазных камышовых крепях, Семен нашел приют в догнивающей землянке. В свои тридцать лет по своей вине стал бéздомом, бегляком, не нужным даже Лизавете. А он так рассчитывал на ее состраданье. Не приняла, и он вынужден скрываться в этом камышовом безлюдье.

В первые дни жизни у Амбарного он в думах строил кое-какие планы; его заботила мысль о будущих холодах, о зимней бескормице. Думалось ему, что надо бы подправить жилье, заново обмазать стены, да и чилимом не мешало бы запастись впрок.

Но истекла неделя, одиночиться опостылело, и он уже не верил в то, что останется здесь до холодов. Каждый прожитый день отвращал его от одиночества, от звенящей первозданной тишины, покоя. И только страх удерживал его здесь.

Многое передумал Семен. Особенно же братнины слова не давали ему покоя. Спервоначалу жгла его обида на Егора. Не ждал Семен таких слов от него, не ждал. Лишь спустя много дней, когда безысходная тоска туманила разум, уразумел Семен, что не личное спокойствие заботило Егора, а поняв это, он устыдился слов своих, которые в сердцах высказал Лизавете.

Он уже соглашался с братом: да, человеку негоже жить зверем, но по-прежнему его останавливал звериный страх перед смертью. Он боялся смерти тела, ибо не верил старушечьим сказкам о жизни души, а о бессмертии дела и имени не помышлял. Ему и в голову прежде не приходили эти вопросы — беззаботная хлебосольная жизнь под братниным присмотром ограждала его от дум о смысле жизни.

И только сейчас, в тяжком одиночестве, он задумался о своей жизни: зачем он, Семен Кузьмич Курганов, явился на этот свет, что должен свершить, какую о себе оставить память. Сын, Васятка, конечно же,— его семя, его кровь. А еще? Все, выходит. Род продолжится, фамилия останется. А память о нем — до новых веников? И то — недобрым словом.

...Горько и запоздало постигал Семен самого себя и смысл бытия. Не в одночасье, не единым проблеском мысли родились в его голове вопросы: «Зачем я тут? Что я тут?»

И ответы складывались долго и мучительно. Они ошеломили Семена, ибо он увидел свою никчемность, осознал смертную вину перед людьми, понял, что эта худая жизнь никогда уже не отвяжется от него, и чем дальше, тем несноснее она будет, страшнее даже смерти.

Тогда-то он и решился. И словно сбросил с себя непомерную тяжесть, соскочил с лавки, вышел на свет. Он спешил, потому как боялся, что передумает, даже не припрятал нехитрую утварь, дверь в жилье не прикрыл. К черту все! Теперь ему ничего не нужно.

...Морянное спало. Избы мутно темнели за пряслиными изгородями и островками фруктовых деревь-

ев. Семен долго хоронился в репейнике за валом, вслушивался в тишину и жиденький собачий перебрех.

Ко двору своему подошел через огороды, пролез меж жердями и затих у старой разлапистой яблони. Теплым духом пахнуло в лицо, и Семен не сдержался, сорвал тугое яблоко, надкусил.

Неслышной тенью он подкрался к оконцу и ногтем скребнул стекло — раз, другой, третий... В полутьме избы метнулась белая тень. Щелкнула задвижка, чуть слышно скрипнула дверь.

Семен шагнул в сенцы и оказался рядом с Лизаветой. Он протянул руки, обнял жену и ткнулся лицом в ее теплую мягкую шею. И все внутри будто перевернулось.

— Лиза, милая ты моя... — сквозь всхлипывания говорил он ей, а сам тискал ее в объятьях и только одного боялся сейчас — как бы она не отстранилась от него, не оттолкнула.— Если бы ты знала, Лиза...— Он замолчал, понимая, что говорит совсем не то, что надо сейчас же сказать о главном. И сказал: — Завтра... в район пойду.

— Ты?.. Это правда, Сень?—Лизавета повисла на нем, обмякшее тело судорожно забилось в рыданьях.— Правда, пойдешь? Иди, Сень, иди, так лучше...

Всю ночь они не сомкнули глаз. Он лежал возле жены, выбритый, чистый после баньки, в свежем белье. Рядом, бок о бок затихла Лизавета, вторая половина его жизни, всего существа его... Утомленные ласками и на время забывшие о завтрашнем дне, бездумно молчали короткое время. Но судьба, висевшая над ними, ненадолго отпустила их от себя, напомнила о себе, вернула к горестным мыслям.

Первым очнулся Семен. Пугливо покосился на замутневшее окно.

— Я пойду, Лиз...

— Рань такую? — удивилась она.— Глянь-ко, на ходиках и четырех нет. До району и ходьбы-то тут всего ничего.

— Из села хочу пораньше выйти.

— Чего боишься-то? В открытую иди, коль решился...

Но он ушел, посмотрел на спящего Васятку и ушел.

Морянное еще не просыпалось, даже собаки, умученные ночным бодрствованием, спали нечутко. Семен, настороженно озираясь, вышел за околицу к проезжей дороге и словно растаял в молочном тумане.

На заброшенном проселочном пути он чувствовал себя спокойно. Отсутствие тревоги вернуло его к мыслям о доме. Как большая радость вспоминалась нынешняя ночь, похожая на тысячи давно ушедших, довоенных. И сына впервые со дня призыва увидел. Он спал, вольготно разметав руки, а на лице, как две капли схожем с Лизаветиным, блуждала улыбка. Примета есть — счастливый будет сын, коль лицом в мать. Неприятно кольнуло: какое уж там счастье! Но как спасенье рассудок подсказал: может, все еще образуется...

Дорога ввела Семена в ветловый колок, а когда он пересек его и вышел на противоположную опушку, перед ним зарозовела река, вся в прозрачном солнечном тумане. Чуть ниже, у переправы, в ожидании парома стояли две гужевые подводы и кучились бабы.

Семен остановился в нерешительности. Все вроде бы обдумал, а вот о переправах забыл. Представлялось ему: незаметно подойдет к райцентру, где никто его не узнает, а потому и дойдет до НКВД никем не

узнанный. На паромах же народ разный и знакомцев повстречать можно. Пойдут расспросы, косые взгляды, а то и того хуже. Вспомнились покосы на Бекешкином, перекошенное лицо Ивана Кротова, отчужденные холодные взгляды женщин.

Нет, на паром ему нельзя.

...Давно переправились бабы с подводами, давно поднялось солнце в зенит и покатилось под уклон, и паром уже несколько раз уходил к тому, заветному для Семена берегу, а он все стоял у колка, не зная, как ему поступить.

28

Егор заявился в положенный день. Теперь он взял себе в подручные соседского мальчонку. Тот после шести классов заартачился и оставил школу.

Землянушка на Маракаськиной, где еще совсем недавно жили Кургановы, опустела, и Егор по нескольку дней не бывал в ней, ночуя прямо в ловецкой посудине. В осиротевшее жилье наведывался лишь по крайней необходимости, когда наступал срок поменять сети или требовалось порыться в старом хламе, отыскивая нужную сбрую или нехитрое ловецкое сру́чье.

Лизавета, как проводила Семена, ходила сама не своя. А потому, едва Егор вошел в избу, все и рассказала про мужа.

— Умнеть начал, стервец,— Егор зло сплюнул и ничего больше не сказал.

...В совете, кроме Сасана и начальника районного отдела НКВД, были еще трое — все в штатском, но одетые словно для спектакля: на них новые рыбачьи робы в складках от долгого лежания, схожие кепки защитного цвета. Екнуло у Егора внутри: они. За-

берут сейчас и с детишками не дозволят попрощаться. Придется Лизавете, горемычной, одной ватагу растить. Порядком струхнул Егор, но виду не подал. Отвел руки за спину, привалился спиной к косяку, стиснул зубы, чтоб не ослабнуть, немощь нахлынувшую не выказать.

— Проходи, Курганов.— Это старшой, из-за стола.

— Ничё... Я и тут.

— Проходи, говорят, садись.—Он выждал, пока Егор оторвался от дверного бруса и сел. Спросил резко: — Встречался с братом?

— Так разве на низу стретишься? Я на Маракаськиной лежу,— догадался, что слово это приезжие не поймут, и пояснил: — Сети, стало быть, кладу на Маракаськиной...

— Известно нам это. Про брата скажи,— подсказал один из штатских.— Где он скрывается?

— Не стречал на Маракаськиной. Чего не было, того не было.— Егор подивился, что Лизаветины слова про то, что Семен пошел с повинной, не совпадали с тем, что ему говорили тут, а потому и не сказал ничего лишнего — зачем Лизавету впутывать...

— Так вот, Курганов, собирайся,— снова заговорил старшой.— С нами поедешь. Хотим прочесать камыши. Провожатым будешь.

Час от часу не легче. Сказал как, чтоб собирался, будто в прорубь окунул. А вышло совсем иное — на брательников след должен навести. Взопрел Егор, на лоб испарина росой высыпала. И не в Семене тут дело. Васятка — вот кто замешался меж ними. Племяш он Егору, но как сын родной.

Собрался Егор с силами, обдумал что к чему и сказал:

— Васятке я крестный отец и родной дядя. Род-

ным и хочу остаться мальчонке, а не отцегубом. Так что... хоть сажайте, хоть казните.

— Чтоб Солонин твою ораву на свою шею посадил? Нет уж, сам корми.

— А к брательнику у меня свой счет, особый,— угрюмо посетовал Егор.— Словами и не обскажешь. Вам он враг, и тута все ясно, как день божий. А нам с Лизаветой да детишкам он всю жизню спортил, наперекосяк повернул. Предал он всех... И нас и вас,— помолчал, вздохнул всей грудью, сказал горестно: — А все же... брательник, кровь-то одна. Вам что... За чужой щекой зуб не болит.

Когда Егора отпустили и он ушел домой, Сасан облегченно вздохнул и сказал:

— Под Амбарный пойдем, товарищ начальник. Там старый мазанка есть. Никого брать не надо, я буду провожатый.

— Далеко это?

— Три часа дорога по воде. На алаша верхом — мала-мала больше.

— Ты-то дорогу найдешь?

— Сасан все найдет. Пойдем колхоз, берем у Солонин конь. Семен на Амбарный будет.

— Кто-нибудь видел его там?

— Никто не видел. Сасан сам так думает.

29

Из окна сельсовета приезжие видели, как Егор оттолкнул бударку и вздернул парус. Косое полотнище затрепыхалось на ветру, но Егор, усевшись в корме, подтянул шкот, и бударка выровнялась, побежала вниз по реке.

— Ну что ж, поехали и мы.

Конный отряд перевалил через кладбищенский

бугор, рысью пересек луговину и скрылся в камышовых зарослях.

Лизавета узнала про то совсем случайно. Проводив Егора, она вычистила базы: выгребла коровяк, на желтые разводы набросала с повети прошлогодние объедья. Собрала в передник яйца из куриных гнезд, оставив отмеченные краской засидки.

И тут сквозь камышовую изгородь услышала сиплый голос Ивана Кротова. Он шел с кем-то улицей и рассказывал громко, в расчете, что и у Кургановых во дворе услышат его:

— Ве́рхи поехали. Отряд цельный, с пистолетами все... Теперь Сеньке-то крышка. А то раскудахтались: лучшие рыбаки, передовики, гордость колхозная... Нашли чем хвастаться. Дерьмо-то и всплыло. И этот, старшой,— того же замеса...

Голоса удалились. Лизавета выпустила передник, и яйца белыми камушками-голышами посыпались под ноги. Но женщина ничего не заметила. Прижав локти к груди и стиснув кулаки у подбородка, застыла в не́мочи.

«Господи, да что же такое делается? — подумала она.— Стало быть, Семен не явился, обманул».

Лизавета только сейчас поняла, почему Егор, вернувшись из Совета, слова путного ей не сказал, побродил угрюмо по подворью и уехал на низ.

Лизавета была готова ко всему, она знала, что вся эта мужнина история добром не кончится, даже если Семен явится к властям, но когда услышала про вооруженных людей, которые выехали искать ее Семена, и подумала, что они, возможно, будут стрелять в него, когда представила мужа, мечущегося в камышах под пулями, сердце ее захолонуло и слезы застили глаза.

Два дня и ночь жила она в ожидании, вздра-

гивая от каждого шерошения, забыв о детях и о доме. Варька не тревожила тетку, увела детишек в свою избу, чем могла набила им рты, угомонила на ночь.

К концу второго дня неожиданно воротился Егор. В глазах смятенье, лицо белее бумаги — куда загар подевался. Лизавета молча вонзила в деверя глаза: что, что еще?

— Семен... — Егор не мог дальше говорить и отвернулся.

— Убили?!

— Сам... порешил себя.

Глубокий шумный вздох вырвался из груди Лизаветы. Но она не заплакала, не запричитала. Лишь спросила:

— Где?

— На Маракаськиной, в землянушке нашей. Снял я его с петли. Ну и вот... надо Сасана известить. Будут смотреть или как...

В тот же день вернулись верховые из-под Амбарного, усталые, злые: на крепь камышовую непролазную, на Семена — за то, что не встретился, на Сасана — два дня по комариной топи водил. На все-все... А узнали про Семена — и вроде бы обрадовались. Погрузились спешно на старенький шестисильный колхозный баркасишко, подвязали под корму Егорову посудину и отбыли на низ.

На стану они долго и дотошно осматривали распростертого на полу Семена, обследовали землянушку и ее окрестности, придирчиво допытывались у Егора, когда и зачем он оказался тут. Все это время Лизавета стояла у квадратного оконца и затуманенными глазами смотрела на яр, где она так любила весенними и летними вечерами сидеть у костра. Рядом, бывало, возился Семен, иногда он дурачился,

приставал к ней, и Лизавета даже сердилась на него.

Когда протокол был составлен, Егор принялся мастерить гроб из нетесаных потемневших от времени и непогоды лесин, а остальные мужики отошли к яру и о чем-то зашептались.

— О чем они? — спросила Лизавета Егора.

— Где хоронить...

— Здесь похороним.— Она вышла к яру и, чтоб все услышали ее, повторила громко, словно за ней было последнее слово: — Тут, на острову, похороним. А вы, мужички, помогли бы, Егор-то один когда управится... Лопаты — в землянке.

Пока Егор готовил брательнику домовину, а остальные, не смея противоречить женщине, ладили могилку, Лизавета принесла из заманихи ведро воды и мокрым вафельным полотенцем обтирала тело мужа.

Схоронили Семена на солонцах, в середине камышовой гривы, средь кабаньих рытвин, щедро посеребренных выкристаллизовавшейся солью.

Был тихий вечер. Тревожа извечную тишь островка, затерявшегося в Понизовье, еле слышно шуршал ломкой листвой камыш. Большое малиновое солнце уходило за окоём.

30

Солонин с Егором на рессорной двуколке возвращались из Володаровки довольные поездкой: успели сделать все намеченное — обыденкой обернулись. У последней перед Морянным переправы начало смеркаться, а Васюхинский мост миновали в кромешной темени, и было непостижимо, как лошадь не сбивалась с нешибко набитой проселочной дороги, местами поросшей щетинистым разнотравьем.

— План районный трещит,— рассказывал Солонин, перебирая веревочные вожжи,— вобелки-то не сумели взять сколь положено. Недолов большой образовался. Вот и собрали нас, стружку снимали с отстающих. Предупредили: кто с билетом распрощаться не хочет, чтоб подтянулись. Но-но, Рыжий.— Он вжикнул хворостинкой по крупу лошади и продолжал: — Оно, конечно, правильно. Война, голодуха, и все прочее. Только с кем этот план делать? Мужиков, считай, и не осталось. Вот и ты тож...

— Мне никак нельзя иначе.

— Понимаю. Да и мужички там нужнее. В Сталинграде-то, сёдни сказывали, наших совсем к яру прижали...

— Ужели и его оставят?

Председатель колхоза не отозвался. Замолчал и Егор, ушел в свои мысли. Подивился тому, как круто повернулась его жизнь. И все — Лизавета. Наутро после похорон Семена она зазвала Егора в свою избу, усадила за стол, сама села напротив.

— Вот что я надумала, Егор Кузьмич. Ты не беспокойся только. Я крепкая, выдержу... — И замолчала, ища и не находя нужных слов.

— Ну-ну, слушаю, Лизавета,— подбодрил Егор.

— Жить нам по-прежнему нельзя. Каждый колоть глаза начнет. Я сама хотела пойти, да ты тут пропадешь с девками да Васяткой, обовшивешь... Выходит, тебе надо идтить. Проживем как-нибудь, вытерпим. Бударку и сбрую всю на себя запишу. Дело знакомое, мальчонку, что с тобой работал, возьму в подсобники, управлюсь. А Варька вон кака вымахала — может самостоятельно домовничать. Тут до Маракаськиной рукой подать. В неделю разок наведаюсь. Ничё-ё... проживем. Избу мою на зиму заколотим — топки нешто напасешься... Али квартиран-

тов пустим. Мово бычка на налог сдадим, хватит на два двора — двулеток. А телушку твою осенью у Василь Фанасича на колхозного бычка сменяем. Вот и мясо нам. Чилим насушим, картошки нароем. Ну и рыба...

Егор подивился ее словам, ее решимости. Молодая, крепкая баба, видная. Какой ей интерес вязать себя по рукам-ногам? Обузу в пять ртов на шею взваливать. Варька, положим, сама себя прокормит, но и без нее четверо! Он так и сказал ей. Лизавета опять свое:

— Настя мне как сестра была. И дети ее — это мои. Не мной рожены, да мной будут ухожены.— Она строго посмотрела на деверя: — Бабы, они, конечно, не дадут тебе засидеться, скрутят. Да и не мое дело это. Только девок в чужие руки не отдам. Заместо матери им буду. Ты только иди — и возвращайся.

Словно дубовым обручем стиснуло Егору грудь— ни слова сказать, ни вздохнуть. Встал он, перемогая себя, обогнул стол и, остановившись возле Лизаветы, обхватил ладонями ее голову и поцеловал в волосы.

— Спасибо, Лизавета, от детей, от Настасеи, от меня. Спасибо, родная.— И, ссутулившись по-стариковски, вышел вон.

В тот же день зашел Егор в Совет, оставшись с Сасаном наедине, рассказал о разговоре с Лизаветой.

— Хороший баба,— похвалил старик.— Уй-бай, молодец. Ходи, Егор, в район. Проси военком, мол, на война пойду... Хорошо проси. Эй, балам! — Он позвал из соседней комнатушки секретаршу: — Кзым, напиши письмо для военком.

— Отношение...

— Да-да... Хорошо напиши, чтоб верил Егору...

Сегодня утром с пакетом от председателя сельсовета Егор зашел в кабинет военкома. Тот прочитал, повертел бумажку и спросил:

— Что побудило, вас, Курганов, пойти на этот шаг? — В глазах военкома любопытство и недоверие.

— Через фронт перебежать хочу, к немцу! — вспылил Егор.

— Но-но! Говори, да не заговаривайся!

— Зачем же пытать меня. Али непонятно? От брательниковых грехов отмыться хочу. С детей позор снять. Воевать буду, товарищ комиссар, отданное отбирать. Наперед загадывать не хочу — хвастливое слово гнилое,— но одно твердо знаю: лучше помереть, чем... как Семен.

...Замерцали огни в окнах Морянного. Солонин, коснувшись соседа локтем, спросил:

— Когда отправка?

— Послезавтра велено явиться.

— Заходи утром, потолкуем.

31

Накануне отправки одной семьей допоздна сидели в Егоровой избе. Хозяин наказывал:

— Тетку Лизавету как мать почитайте, как меня слушайтесь. Одна она с вами остается. А теперь давайте спать. Он поочередно поцеловал своих дочерей, сам помог Варьке уложить меньших. Крепко, по-мужицки, обнял Васятку.

— Будь мужиком, крестник. Ты, сынок, да Варька — первые помощнички матери.

На рассвете Егор осторожно, чтоб не потревожить, поцеловал спящих детей. Он не хотел будить их — боялся слез, боялся смотреть детишкам в глаза. Втроем: он, Лизавета и Варька — дошли до око-

лицы. Варька несла холщовый мешок с отцовскими пожитками, а как вышла на край порядка, приладила его на отцову спину, поправила наплечные веревочки и вдруг, всхлипнув, закрыла лицо ладонями.

— Будеть реветь,— строго одернула ее Лизавета. И Егору: — Иди, Егор Кузьмич. За детей не беспокойся. Не обижу, сама недоем, а их накормлю.— Поцеловала деверя в щеку, слегка подтолкнула в спину.— Иди.

Егор шел не оглядываясь, ша́гистой походкой. Лизавета, обняв племянницу, сквозь слезы говорила ласково:

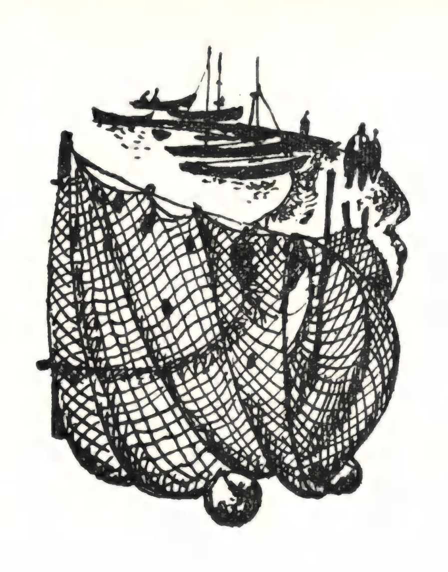
— Вот теперича и поплакать можно. Не видит, не слышит. А провожают когда — нельзя. Человек с легким сердцем из дому уходить должен.

В тот же день, словно сговорившись, едва стемнело, Солонин и Сасан постучались в ставень Лизаветиной избы. Оба прожили много, а потому и знают: день меркнет ночью, а человек — печалью.

О чем толковали они, какими словами разменивались — никому про то неведомо. Но в ту первую, а потому и самую тяготную ночь были рядом с ней добрые и заботливые люди. За одно это земной поклон старикам. Ибо не от скудости ума сказано: один горюет — артель воюет.

Белуга





1

Белужка — река плесистая, будто кто утехи ради поломал ее на замысловатые коленца да и забыл о своем баловстве. Узкие протоки, стиснутые крутоярьями и жиденькими редколесьями, сменяются озерной ширью. Светлые песчаные бережки голы, за ними скудная зелень пáсевы, табунки коров. На заплесках пасутся стайки домашних гусей, одиноко белеют строгие, чуткие цапли, выслеживая рыбную мелкоту, да, воровато озираясь, подбирают снулых мальков пугливые карги.

В реколомную пору в горловинах Белужки громоздятся ледяные шалыги. А широкие плесы в солнечных пестринках отливают холодной синевой. На них сразу же после распаления начинается ловецкая

страда — весенняя путина: мелководья словно паутиной опутываются сетями, в каждой заводи и заманихе вентерей натыкано столько, что рыбе и пройти-то мудрено.

Самая большая речная россыпь — Трехбратинская (на нижнем конце ее высятся три крутоярых острова — по ним и название дано) приспособлена под речной невод. Выше нее за двумя плесинами рыбозаводской поселок. Ниже, в конце однолуки, раздор — Белужка дробится на четыре рукава, те чуть ниже ветвятся несчетно, так что и определить мудрено, сколькими речушками впадает Белужка в море.

Тоня́ названа Лицевой, поскольку она у самого моря, лицом к лицу с ним. И первые косяки рыбные на Лицевой берут, и безрыбье тут познают первыми.

В недавние, уже послевоенные, годы Лицевой и в помине не было. Огромный плес помаленьку опутывался разной водоростью — камышом, чилимом, ежеголовкой, пеленался темно-зеленой бархатной ряской. Промышляли тут колхозные бударочники — сетями да вентерями.

Филипп Чебуров в то время на рыбозаводе хозяйничал плотовым. Работенка хлопотная. В сутки, бывало, десятки караванов буксиры подведут, и всю рыбу надо вовремя через плот пропустить в цеха, которую — в посол, которую — в заморозку, которую — на консервы. Выливщики от кранов сутками не отходили. Резалками в путину нанимали всех поселковых баб и девок. Солильщики с ног сбивались: то чаньев недоставало, то просолившуюся воблу или леща некому на вешала выносить. Вроде бы и не плотового это печаль — в каждом цехе свой мастер. Да Филиппу от этого не легче: коль в цеху каком прорыв — значит, и на плоту затор. Рыба — не дрова, ждать выливки не будет. Полдня лишнего пролежа-

ла и уже закисла, вздулась. А протушить караван — верная тюрьма.

Что и говорить, сумасшедшая должность — плотовой. Но Филипп исполнял положенное исправно, даже с остервенением, за сезон усыхал в весе, темнел с лица, словно вместе с рыбой и его на вешалах вялили.

Поворот в судьбе его получился совсем неожиданный. У Лебедкова, директора завода, совещание шло. Намечали, где новую тоню открыть. Спорили, рядили, но Лебедкова никакие предложения не устраивали. Мужик он несговорчивый, наскоком не убедишь. Глазами только зыркает, слушает и помалкивает. Глаза у Лебедкова пронзительные, будто рентгеном просвечивают. Сам худощав, лицо острое и длинное. И весь он собран, шустрый.

Тут Филипп возьми да и скажи:

— Зачем далеко ходить? Лучше Трехбратинской плесины где найдешь? В нее рыба как в мешок набивается.

Вокруг загалдели — Трехбратинская и впрямь под боком, все ее хорошо знают:

— Нéшто чилим там заготавливать?

— Травы — невод не протащишь.

— Загнул, Филипп...

— Лето ухлопаешь, пока расчистишь...

— Сам-то, небось, не взялся бы.

Лебедков долго молчал, слушал перебранку, живыми глазами озорно оглядывал спорящих и вдруг подмигнул плотовому:

— А что, Филипп Матвеич, возьмешься, а? Стóящее ведь дело, черт возьми!

— Почему бы и не попробовать,— неохотно согласился Филипп.

Так он стал начальником Лицевой.

С плесом вдоволь намучились, все лето ухлопали, еле-еле к осенней путине управились. Лебедков, правда, помогал как мог: два баркаса восьмидесятисильных за бригадой закрепил, косилки там, бороны для расчистки — в первую очередь им.

С тех годов Лицевая богато снабжает завод рыбой.

2

Нынешняя весна мало чем отлична от прошлой. Только краснуха раньше обычного пошла, в одно время с воблой — в самом начале апреля. Другие года припаздывала малость, а нынче ничего, ребята духом воспрянули. Вчера кассир приезжала с завода: по две сотенки с лишком за пятнадцать дней — это ли не приварок? А он, Филипп, звеньевые да еще механик и того больше заработали. Если и дальше так продержится, наскребет Филипп на катерок.

Давно в его голове угнездилась мыслишка о собственном катерке. Только все недосуг. Но теперь-то Филипп решил наверное. Летом пенсион подходит, вот и кстати очень посудину самоходную иметь в своем личном пользовании.

Баюкающе тарахтит дизель, чуть поскрипывая, лебедка наматывает на вал урез — вытягивает невод. Филипп любит эти редкие минуты затишья. Он сидит у притонка и блаженно смотрит на тихую реку. Она будто застыла, но по тому, как бежком сплывает невод, рыбак чувствует неуемную силу вешней воды.

Выше по реке, в конце притонка, маячит одинокая фигура пятчика. Привычно орудуя пятным колом, он сдерживает полукилометровый невод. Филипп знает, каково пятчику,— сам в молодые годы

не одну путину пахал колом песчаный берег. В большую воду невод без сноровки не удержать — пятной урез струной гудит. Наискосок к яру нацелишь пятной кол в песок — так он, словно канавокопатель, бороздит. К летнему запрету притонок похож на вспаханный клин.

...Трудно пятчику, надо бы в половодье напарника выделить, да некого. Рабочих и на выборке невода нехватка. Приходится и ему, Филиппу, подключаться — напяливать ловецкую робу и выстаивать вахту в звене.

У верхней излуки плеса показался баркас. Филипп признал: рыбозаводской. И недовольно поморщился: не иначе, начальство какое, али еще хуже — снимальщик из газеты. На прошлой неделе Лебедков привез одного. На нем висели два фотоаппарата: один на груди, другой у пупка. А шустряк — не приведи господи: как окунь в вентере, шныряет по притонку — глазам больно смотреть.

Филипп еле отделался от фотокорреспондента и, когда тот отошел, сказал Лебедкову:

— Ты мне этих щелкоперов не вози, Дмитрий Иванович. Мне рабочих надо. Вода сильная, невод вместе с руками рвет.

— Знаю. Подошлю,— пообещал Лебедков и поправился: — Будут люди — подошлю.

Меж тем баркас обогнул невод и приткнулся к бережку. С него сошли двое мужиков. И едва они оказались на берегу, баркас, не теряя ни секунды, отработал задним ходом и пошел себе дальше на низ, к Трехбратинскому раздору. Филипп подивился такой прыти и подумал ехидно: «Прижало, не иначе. На котел даже не клянчили». Что правда, то правда: баркасная команда на каждой тоне, на каждой приемке запасалась рыбкой «на котел». К вечеру в кор-

мовом ларе накапливалось столько сазанов, лещей да судаков, что уварить «улов» можно было лишь в стоведерном котле, врытом на околице села для дубления неводов.

Филипп брезгливо поморщился: всегда вокруг добра хапуги вьются. И эти, баркасники, небось солят да поторговывают.

Двое прибывших подходили уже к притонку, и Филипп порадовался, что Лебедков сдержал слово, прислал подкрепление. Но тут он признал в одном Гришу, сына директора завода, прикинул, что пора студенческих каникул не наступила, и огорчился. Знать, не подмога. Да если бы и в бригаду, какое от Гриши подсобление: мальчонка мальчонкой — худенький, росточком в отца, руки выхолены будто у конторского служаки.

Его напарник чуть постарше, но не поселковый, пришлый. Одет изысканно: короткая тужурка из черной кожи глянцево отсвечивала на солнце, на голове узкополая фетровая шляпа, узкие, старательно отутюженные брюки, прогонистые черные туфельки. На груди тужурка небрежно расстегнута, острым клином белеет сорочка, туго схваченная у шеи черным же галстуком с модным маленьким узелком у кадыка.

«Рукойводитель, не иначе,— подумал Филипп,— а может лектор, вон и портфель, опять же, в руках. В эту пору гостей навалом. В безрыбье никого не докличешься. А сейчас едут на рыбку и икорку».

Кто только в путину не наезжает на тоню! Милиция там, связь, бытовики, лекторы и докладчики, к примеру,— этим положено бывать средь рыбаков. И, конечно же, не похлебав ухи, не уезжают. «На котел» тоже берут. Ладно, они службу исполняют.

Если бы только они наезжали! Совершенно сто-

ронний народец вдруг к Филиппу или к иным то́нщикам вниманием проникается. Еще лодка к притонку не подрулила. а уж он, этот незванец, руку вверх тянет — приветствует, улыбается, как лучшему другу, обнимается, сойдя на берег, будто отец родной в гости пожаловал. Таких гостюшек Филипп не признает и гонит в шею.

А одного, при службе человек был, не из случайных, Филипп так турнул, что тот и по сей день Лицевую объезжает, как пустое место. Да и можно ли было стерпеть, ежели человек обнахалился вконец. День рождения у него, видите ли, гостей созывает, а по такому случаю ему нужно два осетра. Так и сказал: два осетра, да еще икряных. И не просто сказал, а пальцем ткнул: вот этого и вон того.

Ловцы сердито засопели и отвернулись, а Филипп не сдержался.

— Может, белугу возьмешь? Вон она на приколе. Два центнера — не меньше. Икры пуда полтора, а то и два. И гостям хватит, и себе останется. На всю зиму харч.

Это был милиционер Шашин. Ничего не ответил он на обидные Филипповы слова. Повернулся и уехал. С тех пор и нога его на Лицевую не ступает.

— Отучил,— смеются рыбаки, вспоминая этот случай.

— Нянчиться, что ли, с ним... — отзывается Филипп.

Так размышлял Филипп и присматривался к незнакомцу. И рыбаки, сидящие рядком на бревне, тоже с любопытством смотрели на приезжего. Гришуто они знали, а вот второй, нетутошний, вызывал любопытство. Был он статен, с пышной кучерявой шевелюрой, круглое лицо его местами было тронуто рябинками,

— Здорово, мужики! — приветствовал он рыбаков. Гриша молча кивнул и заулыбался рыбакам.

Филипп промолчал, озабоченно роясь в кармане, а рыбаки нестройно загалдели в ответ.

— Нам начальника бы увидеть,— сказал незнакомец.

Гриша неприметно подтолкнул его и кивнул на Филиппа.

Филипп же опять не произнес ни слова: прикуривал сигаретку. Мужики закивали в его сторону: он, мол, и есть начальник.

Приехавший несколько подивился такому приему, но недовольства своего не высказал. Он достал из кармана куртки бумажку, не спеша развернул ее и подал начальнику.

— Направление. Вагин Петр и вот еще Гриша. Зачислены в вашу бригаду.

— Ну, это мы еще посмотрим,— Филипп покосился на бумажку.— Кадровику лишь бы контингент набрать, а мне работящие нужны... У нас коллектив рабочих людей,— Филипп с ударением произнес последние слова.— Ясно, мил человек? Случайных не берем. Из каких мест будешь? Городской, что ли?

— Не совсем.

— Сельский, стало быть.

— Опять не отгадал, товарищ начальник. Я из поселка городского типа.

— К нам, на завод, как попал?

— Слыхал, что люди нужны. Вот и решил подзаработать малость. После армии деньги не лишни...

— Ну-ну. Ловецку работу, поди, ни хрена не знаешь, парень из поселка городского типа,— Филипп чуть приметно улыбнулся.

— Эк, мудрена штука,—вновь оживился Вагин.— В космосе легче разве? А ничего — летают.

— Не всем там летать,— осерчал Филипп.— Кому-то и рыбку тянуть надо.— Он встревоженно глянул на реку.— Невод подходит. Айда, мужики. Вот что, ребятки,— обратился он к прибывшим,— обождите-ка малость. Освобожусь, тогда...

Что тогда — Филипп недоговорил. Вместе с рыбаками пошел к лебедке.

3

Мотню подвели к отмели. Рыба, оказавшись в тесной сетчатой ловушке, судорожно забилась, вздыбив фонтан брызг. Сквозь радужную заволоку Петр с изумлением смотрел на огромных рыбин. Тупорылые лобастые белуги, лениво переворачиваясь, подминали под себя прогонистых севрюг и сбитых, словно выточенных из серо-голубого мрамора осетров. Меж могучими огромными телами трепетало и брызгалось серебристое месиво — вобла.

Ловцы бродом подогнали к мотне бударку.

Что было дальше, Петру увидеть не пришлось. На сухое выбрел начальник тони. Он, даже не взглянув на ребят, прошел мимо и запоздало позвал:

— Пошли.

Гриша покорно последовал за ним.

Петр же малость помедлил, потому как все тут было для него ново и интересно. Но затем он подхватил полупустой портфель и с сожалением пошел следом.

В приземистом здании, крытом и обшитом с боков голубоватым в мелких складках шифером, Филипп имел отдельную комнату. Узкая голландская печь, сложенная поперек боковушки, разделяла ее пополам. Позади, в темной половине, стояла кровать. В светлой части вплотную к окну был придвинут

почти квадратный стол, заваленный какими-то бумагами, пожелтевшими брошюрами. На подоконнике молчал дешевый в черном пластмассовом футляре транзистор.

— Ты чё тут не ко времени? — спросил Филипп Гришу.

— Так вышло,— неопределенно отозвался тот.

— Ну-ну,— расспрашивать дальше Филипп не стал, прошел за печь и полез под кровать.

Минуту спустя оттуда полетели и тяжело плюхнулись к ногам ребят новенькие резиновые сапоги и тяжелые оранжевые свертки — робы.

— Переодевайтесь. Асфальта у нас нет. Нечего людей смешить.

На притонке прибывших встретили одобрительными возгласами.

— Робятки-то на людей стали похожи!

— Держись теперь... все подборы пооборвут.

— Крепок парень, только весноватый малость, в пестринках.— Это о Петре, конечно же.

—Шершавый, да, видать, неплошавый,— отозвался другой рыбак.

И Петр как бы между прочим ввернул словечко:

— На вспаханном хлеб растят.

Так перекидывались они шуточками, а Филипп отметил про себя, что Петр вроде бы ничего парень: расторопный и общительный. И силой, видать, родители не обделили его. Из Гриши, правда, помощничек не ахти какой, да ничего, в артели сойдет. Фонарщиком придется его определить. (И такая должность есть на тоне).

Тут опять невод подошел, шутки стихли. Филипп подозвал Петра и показал, что делать. Все оказалось до удивления просто: нижнюю подбору с каменными грузилами-ташами тянула лебедка, а верхнюю с

пенопластовыми, почти невесомыми поплавками, стоя по колено в воде, вытягивали рыбаки. И Петр тоже.

И так — метр за метром, метр за метром. Работа не трудная, поскольку главная тяжесть на машину падает. Только без привычки вода в рукава наливается, щиплет, мокрая роба фанерой хлопает. Потом звеньевой Усман отъехал на лодке вдоль невода и долго что-то копошился там, низко склонившись над водой. Несколько спустя Петр понял: пока сплывает невод, мотня-ловушка скатана и привязана к верхней подборе, чтоб не путалась, не выворачивалась наизнанку. А когда невод на подходе, мотню распускают — тут уж ее сама вода расправляет самым наилучшим образом,— и вся рыба, обманувшись ложным ходом, оказывается в ловушке.

Ночами у мотни лодку с красным фонарем к неводу причаливают,— вроде бы передвижной бакен, чтоб ненароком кто в невод не въехал. А на лодке-фонарке фонарщик дежурит...

На этот раз Петр стоял у мотни. Вначале, пока мотня шла приглубью, Петр видел, как вскидывались крупные рыбины — темные покатые спины, глянцем раздвигая желтую воду, блестели на солнце. На отмели мотня взбурунилась, зашебаршила. Вода вскипела, по лицу и одежде ловцов потекли потоки взмученной воды.

Петру кинули брезентовые рукавицы.

— А ну, парень из поселка городского типа, разомнись-ка...

Вокруг засмеялись, но Петр нисколько не обиделся. Сунул широкие ладони в рукавицы, изловчился и схватил некрупного белужонка за раздвоенную махалку. И в тот же миг его мотнуло в сторону, потом в другую. Потеряв равновесие, он отпустил рыбину и повалился в воду, но его поддержали.

— Ты б еще зубами за махалку. В один момент скулу своротит.

— Под кулаки ты ее бери. Так вот.— Филипп подхватил белугу под грудные плавники.— Тут она и твоя...

4

Вахта кончилась под вечер. К притонку, на ходу застегивая пуговицы залубеневших роб, спешили ловцы подсменного звена.

— Петро, отнеси-ка на кухню,— Филипп вытянул из бударки осетра и взвалил парню на плечо.

— Солнце садится, у рыбак курсак веселится... Айда за мной. Уха варим.— Это Усман. Он рад концу смены, предстоящему отдыху. Но Петр с опаской смотрит то на Усмана, то на Филиппа: нести осетра на кухню или шутят над ним? Наверняка шутят — кто же эдакую махину будет варить.

— Ты чё замешкался? Или мало? — Филипп вскинул на парня округленные глаза.

— Хе, скажешь тоже,— Петр заулыбался растерянно и зашагал следом за Усманом.

— Повариха мал-мал болел,— говорил Усман.— Чубурок домой ее отправил.

— Кто? — не понял Петр.

— Филипп...

— А Чубурок — это фамилия?

— Ну да... Чубуров он. А чебурок-таш — это такой грузел каменный. Филипп — мужик крутой, тяжелый. Вот его и звал Чебурок...— И пожалковал: — Теперь сурпу сам варим...

Усман разделывал осетра мастерски. Вытащив из кармана штанов складной нож с потемневшей, пропитанной рыбьим жиром деревянной ручкой, навел

лезвие о край эмалированного ведра. Попробовал остроту на палец и скупым движением ножа глубоким надрезом окольцевал рыбью махалку. Пока из туши стекала кровь, похлопал шершавой, заскорузлой ладонью по осетровой брюшине.

— Икра сейчас мал-мал ашаем...

— А как узнал, что икряная? — полюбопытствовал Петр.

Усман озадаченно посмотрел на парня, удивляясь неуместному вопросу. Сколько он себя помнит, перед ним никогда не возникали такие пустые и ненужные вопросы. Откуда все приходило — рыбак не мог бы и объяснить. Это так же естественно и ясно, как и то, что днем светло, а ночью — тьма.

— Зачем спрашиваешь? — осерчал Усман.— Гляди: большой брюха — икра многа, маленький брюха — мала. Когда вот тут длинный ямка — сапсем бестолковый рыб...— Довольный столь пространным объяснением, он подцепил указательным пальцем становую жилу, белевшую в надрезе, и потянул на себя, извлекая из тушки белый упругий жгут.— Вязига ашал? Нет... Уй-бай. Вязиг солить, сушить будем, домой бери. Баба есть?

— Не успел. Только из армии вернулся...

— Баба будет,— успокоил Усман.— Мать есть?

— Никого у меня нет,— глухо отозвался Петр.— Детдомовский...

Усман, не переставая работать, долгим взглядом посмотрел на Петра.

— Выходной придет, ко мне поедем. Моя Марья хороший пирог печет. Я русский бабу взял. И тебе найдем. Дочка у меня — три штуки. Какой понравится — та твой... Бери, пожалста, красивый дочка: глаза большой, как у Марья глаза... Держи... вот так держи.

Усман полоснул белугу вдоль брюха. В открывшемся разрезе сизым отливом блеснула икра.

— Ведро давай,— попросил рыбак. Он запустил руки в брюшину и вытащил крупный ястык икры.— Большой сетра, а дурак. Половина ведра нет... Пустой рыба,— ворчал Усман. И Петру: — Я в море ходил после войны. Икрянщиком на шаланде был. Шаланда знаешь? Нет. Завод такой, в море плавает. Уй-бай, сколько икры Усман делал! Какой белуг резал! Икра — четыре-пять ведра. Жаксы, хорош белуг! Утром видал, какой белуг поймали? Корова! — Усман увлеченно рассказывал, а сам крошил рыбью тушу на мелкие куски, срезая их с жесткой в острых костяных жучках кожи. Все получалось у него ладно и скоро. Петр еле успевал споласкивать крошево в воде и класть в развалистый дюралевый котел.

Когда заварили уху, Усман снял со стены эмалированную кастрюлю и поставил перед собой. Попросил:

— Грохотку дай-ка.

— А что это... грохотка?

— Уй ты, парень, городской типовой,— пошутил Усман.— Сапсем дурной голова. Вон на стенке висит — видишь?

— Решето это.

— Решето у бабы на кухне. У рыбака — грохотка. Икру через нее пробьем, кишка-мишка ненужный бросаем.— Он взял ястык и потер о грохотку. Икринки мелкой дробью осыпались в кастрюлю, а на капроновой мелкоглазой сетке остались ястычные пленки — «кишка-мишка».— Усман большой мастер-икрянщик был. После шаланда — тут, на заводе, работал. Икра делал — мед. Кило ешь, два ешь — еще охота. Мала-мал не доглядишь — язык проглотишь...

Любой фасон делал: паюсный, зернистый, жировой. Все бросал, ушел...

— А ушел-то зачем? — поинтересовался Петр.

— Устал, парень. Один просит: дай, другой просит: дай. Усман—человек добрый, всем давал. Потом устал мал-мала... Что, говорю, Усман—купец? Ушел. Давай вода горячий.

Усман развел крепкий тузлук и вылил в кастрюлю с икрой. Опустился затем на корточки и не спеша стал помешивать в кастрюле ложкой. Черные икринки слегка пожелтели, набухли просяным зерном.

— Теперь гляди, учись. Давай руку,— зашептал Усман и положил парню на ладонь пол-ложки икры.— Вот так теперь жимай мал-мал. Тиха, ну, чистый медведь. Вот, гляди. Зерно лопнул, а молока нет. Значит готов икра. Такой вот секунд найдешь — жаксе! Не то — пропал икра!

Они сцедили тузлук, и поверх марлицы, расteленной на грохотку, горкой рассыпчатого черного зерна аппетитно засветилась икра. Рыбак сунул Петру ложку и сказал:

— Ешь. Язык не глотай.

5

После ухи на заходе солнца всем звеном поехали на приемку. Три бударки, всклень налитые рыбой, тяжело тащились на́ воду за слабеньким буксирным баркасиком. Усман, сидя на кормушке последней лодки с румпальником в руке, блаженно улыбался и шершавой ладонью поглаживал живот.

— Жаксэ! Курсак доволен.

— Еще бы не жаксэ, осетрина — не щучина.

— Любит дядя Макей рыбу без костей.

— А что, ребята, щука — рыба нужная, особливо мужику в возрасте. Силу возвращает.

— Усмана щучиной надо кормить.

— Ничава, мой Марья на меня пока не обижается,— отшутился Усман.

Приемный пункт, заякоренный у крутояра, открылся за первым же коленом. За ярами с ветловым редколесьем, до самого закроя, весеннее водополье. Между Белужкой и разливом узкая гривка в щетинке ветлы и камыша. Водоверть прижала к берегу приемную рыбницу с камышовым навесом и невысоким кубриком на корме и несколько вытянувшихся гуськом прорезей — садков для живья.

— Аноха уже у весов, на вахте.

— Жулик Аноха,— в сердцах отозвался Усман.— Сапсем не надо его рыбница сюда водить. Другой места пущай карапчит.

— Не один хрен,— усмехнулся Филипп.— Не у нас, так у других. Проучить его надо бы.

— В прошлый раз тебя не был, Филипп,— вспомнив что-то, оживился Усман.— Тридцать шесть носилка сдали, Аноха тридцать пять писал.

— Уши не развешивайте,— беззлобно усмехнулся Филипп.— Одному надо завсегда у весов стоять и отвесы записывать. Аноха прикидывается только эдаким простачком-беднячком, а у самого, небось, на пять машин лежит на книжке. Что и говорить — продувной мужик.

— Так-так,— закивал Усман и потянул на себя румпальник — караван заворачивал к приемке. А сам подумал: как незаметно меняются люди. В войну они с Анохой пацанами были. И всегда тот, бывало, за товарища горой. Куском последним делился. А теперь, поди-ка, вот...

Анисим-приемщик из своих, поселковых. В моло-

дости слыл он простачком и даже недоумком. Всерьез никто его не принимал. И когда неожиданно он стал приемщиком, сомневались мужики: потянет ли? Что там ни говори, рыбу надо принять и в целости-сохранности доставить на завод. И не один центнер, а сотни. Попробуй-ка летом, в сорокаградусную жарынь не протушить ее...

Обернулось, однако, совсем иначе. Аноха и хозяйство свое блюл, и пронырливым не в меру оказался — поворовывать начал, да так незаметно и красиво, что и придраться вроде бы не к чему.

Сдавали рыбу в трое носилок. Филипп дозором застыл у весов рядом с Анохой и записывал каждый раз, как только носилки снимали с весов. Аноха чувствовал недоверие рыбаков, но прикидывался, будто не замечает их подозрительности.

На Петра приемщик произвел хорошее впечатление: открытое улыбчивое лицо, глаза внимательные, спокойные. Говорил Аноха неторопко, мало, не суетился, двигался уверенно, подчеркивая тем самым, что на рыбнице он хозяин, а среди рыбаков — свой человек. Подумалось тогда парню: может, оговаривают человека? Всем угодишь разве?

Петр работал в паре с Усманом. Подставляли пустые носилки к бударке, груженной красной рыбой, а когда их наполняли — шли к весам, потом — к прорези. Трех белуг, не умещавшихся в носилки, к весам, а затем и к прорези тащили волоком.

— Хорош, шайтан. Держи, Петька,— приговаривал Усман. В нем опять проснулся старый мастер-икрянщик.— Два пуд икра — как пить дать... Золотой белуг, матерый белуг..

Петр просунул пальцы в жабры, потянул, но тут же отпустил: зазубренная белужья щегла — щека больно впилась в суставы. Приспосабливаясь, как бы

лучше ухватить белугу, Петр заметил: костяная щегла чем-то повреждена. Оттого и врезалась в руку.

— Глянь-ка, Усман, как изуродована...

Но Усман всякого насмотрелся на своем ловецком веку. Какой ему интерес рассматривать царапину или пустячную ранку на белуге, которую они сейчас сдадут и уже более никогда не увидят.

— Давай-давай, Петряй... Кинá смотреть пришел, да?

Петр тут же забыл и о боли в пальцах и о зарубцевавшейся ране на белужьей скуле. Вдвоем с Усманом они доволокли рыбину до края прорези и столкнули ее в садок.

И, могло статься, никогда бы не вспомнить Петру о той малой неприятности, если бы не скорое происшествие на тоне. Неслыханный этот случай произошел на следующий же день и несказанно возмутил рыбаков нечеловеческой жестокостью.

А пока ловцы сдавали улов, не зная, не ведая о том, что их ожидало.

6

Наутро Филипп вышел из своей боковушки без робы и без сапог. На нем была ватная телогрейка, брюки заправлены в шерстяные высокие, домашней вязки носки, на ногах — потрескавшиеся, прожаренные на солнце галоши. Он после пополнения бригады не заступил со звеном на вахту, а стал тем, кем и должен быть,— начальником тони, чтоб руководить всеми тремя звеньями.

Гришу, прибывшего с Петром, назначили фонарщиком. Ловцы обращались к нему ласково и даже несколько уважительно. Петр не знал причин такого отношения к парню, но и ему Гриша понравился.

Был он улыбчив, обходителен, по-девичьи ласков. Говорил мало, тихим и мягким голосом.

День был безветренный, ясный и уловистый. Река разгладилась от ночных волн-морщин, от нее веяло свежестью, пахло снегом, переспелым арбузом.

Подошла мотня. Стоя полукругом, уловщики выбирали из воды мотню, все более сужая котел, в котором вскипала вода от рыбы.

— А много краснухи-то,— не то сказал, не то спросил долговязый Гриша.

Усман с усмешкой покачал головой:

— Много... Слыхал, Филипп,— Усман обернулся к берегу, где у самого заплеска на широко расставленных ногах стоял Чебуров.— Слыхал, Филипп, что балашка болтает... Сто голов не наберешь. До войны мой ата невод тянул. Ты, Филипп, не забыл? Скажи, эти котята ничава не знает... Скажи, Филипп, сколько мой ата брал.

— До тысячи голов с притонения, а точно, до штуки, не упомню.— Подумав, Чебуров добавил: — И поболе случалось.

— Видал? А ты — многа...

Филипп от воспоминаний закручинился, зло сплюнул под ноги на желтый песок и в раздумчивости побрел прочь от работавших.

Усман подогнал бударку, и ловцы, подзадоривая друг дружку, подхватывали под кулаки мордастых белуг и осетров, перекидывали их через низкий борт бударки. И вроде бы уж и перекидали все, и звеньевой отодвинул бударку с красной рыбой, чтоб поставить у мотни вторую лодку для воблы, как вдруг Петр приметил среди частиковой мелкоты темное недвижное пятно с крупными, чуть ли не в кулак жучками. Было что-то странное и непонятное в той неподвижности огромного сильного тела.

— Ребята, а тут еще одна,— Петр осторожно забрел до середины мотни, раздвинул сапогом мелкую рыбу и немало подивился: на дне мотни лежала огромная белуга, не меньше той, которую поймали вчера. Усман опять скажет: корова.

Петр и подоспевший на помощь фонарщик Гриша потянули белугу за кулаки и удивленные тем, что открылось им, словно сговорившись, выпустили ее из рук.

— Чава стоишь,— поторопил их Усман.— Кина́ смотришь, да?

Петр молча смотрел на белугу, а Гриша обернулся к звеньевому и уставился на него немигающими, широко раскрытыми глазами.

— Кина́ пришел, да? — зло переспросил Усман, но тревога ребят уже передалась и ему.— Чава́ молчишь? Рот закрой — карга залетит.

— Выпотрошенная... белуга-то... — наконец проговорил Гриша.

— Дохлый?

— Живая, ворочает жабрами...

— Чава́ болтаешь... Кто потрошил?

Белугу выволокли на берег. Она и впрямь была еще жива. Разрез вдоль тела страшно зиял на ее мелко вздрагивающем теле. Ловцы окружили рыбину кольцом и, пораженные, молча смотрели на нее.

Первым опомнился Усман.

— Филипп! — осевшим голосом окликнул он Чебурова.— Хади сюда!

Тот стоял у вешалов, где сушили и ремонтировали запасный невод, о чем-то разговаривал со стариком-чинильщиком. Не зная, по какому случаю понадобился звеньевому, Филипп не заспешил к притонку, а присел на кортки возле старика и помог ему вырезать латку из ядра, чтоб вставить ее в поврежденное

крыло невода. И лишь когда Усман во второй раз окликнул и нетерпеливо замахал рукой, Филипп неспешно поднялся и вернулся к притонку.

То, что он увидел, поразило старого рыбака не меньше, чем ребят, еще мало что повидавших в жизни. На притонке лежала чуть ли не трехметровая белуга, вспоротая по всей длине брюшины. Бескровное ее тело желтело воском, побелевшие безжизненные глаза неподвижно уставились в небо и, видимо, уже ничего не различали—даже огромного и жаркого солнечного диска. По телу, когда-то сильному и быстрому, мелкой рябью пробегали предсмертные судороги. Она сдержанно дышала, вяло раздвигая щеглы, под которыми чуть приметно вздрагивали слипшиеся бледно-розовые жабры.

Обреченная на смерть еще задолго до того, как ее неводом вытянули из реки, она, отходя, недвижно, живым укором человеческой жестокости и алчности лежала на сыром песке.

Ловцы, с детства привыкшие каждодневно и ежечасно во множестве вылавливать (и тем самым обрекать на смерть) этих редкостно могучих и совершенных в своей красоте рыбин, тут, при виде столь неоправданной жестокости, виновато молчали, словно вина неизвестного им человека, сотворившего это зло, была и их виной, а его жестокость — их жестокостью.

7

Стояли рыбаки возле белуги, и никто не знал (да никто и не думал о том), что тускнеющие ее глаза, неподвижно нацеленные в небо, видели эту бесконечную синь и желтый диск солнца давно-давно, когда никого из них, даже самого старшего, Филиппа, не

было на свете. И тони, конечно же, не было, не тарахтел дизель, не стояла на берегу под ветлами одетая в шифер казарма. Да что там тоня, что казарма, что ветлы! И сама рыбистая Белужка еще не коленила здесь, и камышовые острова, что крутояро высятся вдоль реки, еще лежали в верховьях Волги, Камы и Оки — за многие сотни верст отсюда. Да и сама земля-то, плотно, песчинка к песчинке спрессованная водой, и та намного поздней принесена сюда буйными вешними паводками с разных уголков необозримой Волжской области — с западных предгорий Урала и клязьменских водомоин, с овражистых полей Заволжья и древних муромских косогоров.

В то далекое время гуляли тут волны-беляки, бегали реюшки под серыми косыми парусами, а зимой на санных подводах съезжались сюда ловцы за белорыбицей, долбили пешнями неподатливый искристый лед, шестами щупали дно, ставили оханы-режаки, а в ожидании улова жили в ледяных буграх, греясь днем работой, ночами — в шалашах, у жарников.

Белужонок тогда впервые попал сюда. Вывелся он из серой липкой икринки в верховьях Волги под Тетюшами. С месяц подрастал в пронырливой стайке таких же колючих плосконосых белужат, креп на вольной приглуби, близ студеных водовертей, жил насекомыми — водявками и рачками.

Потом всю стайку вынесло в море — в эту необъятную смесь воды и соли. Вначале белужонок держался в сладимой воде, чуть ниже устья, где в едва заметной солености и рачки помельче, и раковины понежней, не то что в морской глуби.

Вот тут-то и вышло с ним небольшое приключение, чуть не стоившее ему жизни. Резвился, гонялся белужонок за малюсеньким бычком и не заметил, как влетел в сеть. А когда вода посветлела, и над

морем и где-то сбоку взошло холодное оранжевое солнце, сеть выбрали, и белужонок, задыхаясь, шамкал жабрами, бился отчаянно, пока его не стали выпутывать из сети. Человек что-то ворчал себе под нос, сердито дернул сеть и поломал щеглу. Белужонок забился от боли и в тот же миг, выброшенный из-за своей непомерной малости, плюхнулся в воду.

С годами белужий косяк уходил мористей. В полуводе ловили бычков, воблу и прочую мелкоту. В приглубь не уходили — там жили старые одиночки. Они много лет уже не поднимались в Волгу — давно отметались, отплодились, теперь доживали долгие холодные и одинокие морские годы...

Лет через пятнадцать белуга со щербатой щеглой почувствовала: что-то внутри не давало ей по-прежнему беззаботно резвиться в морской безбрежности. Инстинкт, выработанный на протяжении многих миллионов лет, подсказал ей: надо плыть в те самые места, где она сама появилась на свет.

Но чего это ей стоило! Ближе к устью путь ей преградил пугающий смолистой вонью невод. К нему рыбы близко не подплывали, шли косячками вдоль стены, искали ход на свежую сентябрьскую струю. Каким-то чудом им удалось найти пролаз, образовавшийся меж дном и нижней подборкой невода.

В другой раз долго и осторожно обходили крылья невода.

По Волге поднимались и днем и ночью, врожденным чутьем отыскивали суводи и закрутени, жались больше к обрубистым берегам, где меньше хитроумных ловушек, нет речных неводов, плавных режаков...

Но и здесь рыбу поджидала смерть.

Как-то у перекатистой водоверти идущие впереди вожаки судорожно задергались, метнулись в стороны

и вмиг были схвачены стальными, наточенными словно иглы, крючьями. Поредевшая стая метнулась вверх.

К лесистым тетюшевским ярам и суводям дошли редкие белуги. Похолодало, сгустилась вода. Белуги залегли в глубокую уямь под глыбистой кручей. Долгая зима ледяным панцирем давила на глубь. Скуднела вода, рыба лежала недвижно, словно снулая, неживая, в плотной шубе осклизлого слена.

К апрельской ростепели с низов пришли весенние косяки — яровые — шустрые, сильные.

И пока перезимовавшие — озимые, выйдя на быстрины и стрежни, смывали с себя слён, набирались сил, пришлые яровики выметали икру и покатились к низовью, гонимые верховой снеговой водой. Чуть после, закончив икромет, ушла следом и белуга со щербатой щеглой.

С тех давних времен каждые три-четыре года, набрав икру, шла белуга к волжским верховьям. От той первой беззаботной стайки сеголеток, которая впервые скатывалась в море, осталась она одна. На икромет ходили небольшими косячками в пять-десять голов. Достигали верхов, как и всегда, немногие. Белуге с рваной скулой везло. Вначале оттого, что шла следом за вожаками, и гибли чаще всего они. Потом сама, став вожаком, привычными перекатами и приярами с остерегом вела косячок к заветным икрометным каменистым нерестилищам.

Затем исчезли морские невода. И уж совсем стали забывать о снастях крючковых. Но тут вошло в жизнь белуги что-то новое и непостижимое. Далеко до Тетюшей, сразу же за Вольскими перекатами, навалилось на Волгу что-то грохочущее и непонятное. С шумом срывались откуда-то сверху огромные потоки воды, сувóдили, отбрасывали косяки назад.

И сколь ни бились, зазимовали в новых необжитых яминах.

А в последнюю, нынешнюю зиму пришлось залечь уже намного ниже — в Светлоярских омутах, даже не дойдя до створа Ахтубы. Грохочущая лавина воды подошла совсем близко к морю, заслонила далекое и такое нужное верховье...

Заиленные омуты были до отказа набиты белугами, осетрами и севрюгами. Местами они лежали в три-четыре слоя. Белуга с рассеченной скулой успокоилась рано. В конце зимы, оказавшись наполовину замытой илом, с трудом выбралась из тины.

Икромет, как всегда, начали яровики. Илистое дно огромной котловины, куда с верхового плеса еле доходили водоверти, было покрыто слоем наскоро выметанной икры — слипшейся, гибнущей...

Бесчисленные стайки стерлядей, густеры-белоглазки, язей и разной мелкоты вроде гольцов и пескарей роились тут же, в приглуби, поедая и свежую и уже с проклюнувшимся глазком икру.

Белуга донашивала в себе икру. Время от времени устремлялась навстречу снеговой подсвежке, но, обессиленная в неравной борьбе с могучими водотоками, скатывалась в кишащую рыбой котловину.

Однажды, передохнув, она пошла правым отлогим краем речной впадины. Сверху до нее доносились стрекотанье гребных винтов, гул работающих двигателей. Белуга, хоронясь от опасности, ушла вглубь и продолжала двигаться против воды.

Так она дошла до осклизлой, покрывшейся зеленью стены и затаилась. Здесь было тихо, как в омуте, и несуводно.

И тут белуге повезло: мшавая стена медленно раздвинулась, и она, увидев желто-зеленый проран, метнулась в шлюз.

8

Едва-едва мужики очухались после такого происшествия, Филипп медленно обвел всех взглядом, будто пытался разгадать мысли каждого, и спросил:

— Что делать-то будем?

— Тюрма сажать нада, — горячо откликнулся Усман.

Фонарщик Гриша усмехнулся, а Филипп иронически одобрил:

— Это ты как в воду глядел — сажать. Кого хватать-то?

— Уй-бай,— Усман понял, что дал промашку, и, чтоб как-то сгладить оплошность, предложил: — Белуг сдавать надо. Мишка-большой и Мишка-маленький звать.

— Насчет инспекторов — верно сказал. Позвать надо, без них как же... —согласился Филипп. Он обернулся к фонарщику: — Гриша, скажи-ка, пущай на метчике сбегают до кордона, позовут инспекторов, так, мол, и так. — И решил: — Без них сдавать не будем...

Гриша зашагал к баркасику-метчику, чтоб передать мотористу наказ начальника тони, а рыбаки будто почувствовали некоторое облегчение оттого, что наконец-то найден какой-то выход, и загалдели.

— А икорки, братцы, хватанул порядком.

— Куш! Ведра три, наверное.

— Ухапил, чё там говорить... Только не пойму, зачем рыбину-то в воду?

— Видать, помешал кто...

— Да... вот такая, братцы, самодеятельность.

Незаметно задул-засвежил верховик-водосгон. Пока вернулся метчик с кордона и пошел на очередной замет, пока дождались инспекторов рыбоохра-

ны, плес залохматился волнами-беляками. Поскрипывали лодки у причала, зашелестели мелкими листьями ветлы, зашуршали камышинки.

Подошел невод, и на притонке снова воцарилось оживление. Филипп глянул на часы и заспешил в свою боковушку: подошло время по рации связываться с Лебедковым.

А снизу, от Трехбратинских островов, спешили на дюралевой шлюпке свояки Миша-большой и Миша-маленький. Утлое суденышко, натыкаясь на встречную волну, дыбилось, швыряло брызгами.

Чуть пониже тони — рыбонадзорский пост. Свояки Миша-большой и Миша-маленький несут охрану на Белужьем не первый год. И они всех ловцов в лицо знают, и к ним все привыкли. Миша-большой — детина саженного роста, телом худощав, узкое морщинистое лицо рассекают поперек рыжие усы — предмет постоянных насмешек свояка. Говорит Миша-большой высоким певучим тенорком, смеется раскатисто, от души, любит подтрунить над своим подручным, привычно ожидая от него ответную колкость.

Как старший по службе, он возит при себе в офицерском планшете необходимые документы и бумаги. Протокол на нарушителей составляет не спеша, обстоятельно заполняя все пустоты бланка.

Настигнув обловщика, с удовольствием потирает широкие сухие ладони:

— Сейчас мы маленький актик сварганим. Миша, — обращается он к Мише-маленькому, — ставька чаек. Вот бумаги обладим, да и чайку похлебаем. Угостить надо людей.— Он часто бывает улыбчив, мягок до ласковости, но непреклонен: напакостил — отвечай.

Миша-маленький — полная противоположность

участковому: росточком ему по грудь, плотный, словно желудь, широколиц, смугл. В движениях и словах он медлительный, слово говорит, будто царским золотым червонцем одаривает, — с оглядкой, с раздумкой.

В разъездах Миша-маленький любит рулить, а Миша-большой восседает на весельном сиденье. На ходу, когда нос шлюпки высоко вздыбится, а корма просядет, Миша-маленький по соседству с другом, что мышь у копны.

Друзья они закадычные. Случится коли одному по надобности домой отлучиться, второй следом лопотит. А сойдутся — шпыняют друг дружку, колются словечками и все больше насчет комплекции злословят. Дорога — штука долгая и скучная, вот и практикуются в остротах.

Подруливая к притонку Лицевой, свояки как ни в чем не бывало заговорили о деле:

— Райинспектора надо сегодня же оповестить.

— Да, конечно. Случай-то не совсем обычный. На кого тут дело заводить?

Филипп стоял на рундуке казармы. Когда рыбонадзорская шлюпка уткнулась тупым носом в прибрежный туго намытый песок, спустился со ступенек и направился к охранщикам.

Миша-большой и Миша-маленький сидели на кортках возле уже бездыханной белуги. И оттого, что прекратилась дергота в ее теле и она не шевелила жабрами, не водила плавниками, а в застывших глазах исчезли последние проблески жизни, ни один из инспекторов не почувствовал той остроты и необычности случая, той бесчеловечной жестокости, которую часом раньше ощутили ловцы. Для дозорщиков нынешний случай само собой не представлялся обыденным, но и предаваться душевным пережи-

ваниям особой причины не было. Только Миша-большой неприметно матюкнулся, а Миша-маленький по обыкновению промолчал.

Служба есть служба, и ее надо исполнять. Свояки придирчиво осмотрели рыбину. Все внутренности нетронуты, даже крохотные ястычки икры в спешке оставлены и лоскутами чернеют в распахнутой брюшине. Белуга, сброшенная в реку, теряя кровь, погибала медленно, водой ее несло вниз, пока невод не выволок на отмель.

Миша-большой достал из планшета бумаги, тут же на притонке угнездился на туго свитый моток троса и ушел в свои мысли. Миша-маленький в таких случаях переходил на полутона, с почтением посматривал на старшóго — для него составление протокола было трудом непосильным. И дело тут не в грамоте. С ней-то он справился, но мысль коряво на бумагу ложится. По этой причине Миша-маленький уже не единожды отвергал предложение райинспектора перейти старшим на другой участок. Когда особенно настойчиво приставали, отшучивался:

— Грамотка-то тверда, да язык шепелявый. — И оставался со свояком.

Вскоре подъехал и Лебедков, да не один, а с милиционером Шашиным. Мужики с любопытством поглядывали на него, но Шашин вел себя так, будто ничего между ним и Филиппом не произошло.

Лебедков поздоровался со всеми за руку, угрюмо постоял над белугой, покачал головой и отошел к Филиппу:

— Рассказывай, как оно?

— Чё тут говорить...— Филипп пожал плечами:— Похабное дело.

— Да-а... Рыба ловится?

— Держится краснуха. Жаловаться грех. Пока

яры не затопит, дышать можно. Вобла, однако, прошла, на полои вышла, икру мечет.

— Остановилась вода-то, — оживился Лебедков.

— Чую. Вторые сутки на одной отметине. Придержали, видать, воду-то.

— Хорошо бы. Иначе с планом не пролететь бы...

— Оно, конечно, для ловца хорошо. Для завода — опять же. Пока сазан да лещ в трубе, в реке то исть, и на полои не вышли, и план и два взять можно. С одной стороны, так сказать, оно и приятно...

— Понимаю, Филипп Матвеич, как тут не понять.

— Баба, ежели она в положении, рожать должна. Рыба тожить живность... Вобла седни-завтра отмечется. Теперь сазану да лещу черед. Недельку, ну, от силы полторы — и потечет икра. Крупной рыбе большой паводок требуется. А воду-то, как видишь, держат. Такой вот коленкор.

— Ничего, — Лебедков старается успокоить Филиппа.— Не допустят беспорядка, дадут воду. Так что берите рыбку, пока можно.

— Мы что... Мы возьмем положенное,— угрюмо отозвался Филипп. — Уловим... От нас наше не убежит. Только беспокойно... Как бы не наворочали, опосля виноватых днем с огнем не сыщешь.— Филипп кивнул на Шашина, усмехнулся: — Зашебаршился... Он-то зачем тут? Рать народная...

— Не все дома сиднем сидеть, — ответил Лебедков.— Пускай подключается. Дело, скажу я тебе, нешутейное.

— Знамо,— согласился Филипп, и опять улыбка тронула его смуглое сухое лицо: вспомнил прошлогоднюю стычку с Шашиным.

Милиционер между тем вытащил из кармана рулетку и пытался измерить белугу. Полнота мешала

Шашину, он стеснительно зыркнул глазами, поспешно опустился на одно колено и приложил ленту к телу белуги. Но рулетка была коротка, и Шашину пришлось, приподнявшись, шагнуть в сторону и опять стать на колено. Затем он долго изучал белугу, видимо, пытаясь обнаружить какую-либо особенность или примету. Примета вскорости обнаружилась: щербатая скула да еще не зарубцевавшийся разрыв в жабрах. Многолетней давности зазубрины на щегле уже окостенели, а ранка на жабрах была недавней. Шашин просунул под щеку пальцы и нащупал острые зазубрины.

Весь материал дознания и показания рабочих милиционер обстоятельно отразил в протоколе и попросил Чебурова и Усмана подписать бумагу. Филипп наспех посмотрел написанное и изобразил замысловатую в завитушках подпись, а Усман и совсем не вник в суть: подсунули бумагу, он ее и подмахнул. А прочти он — еще неизвестно, как бы обернулась эта история. Может, и вспомнил бы он про слова Петра, сказанные на приемке, когда они сдавали Анохе такую же вот белугу, со щербинкой на скуле. Кто знает, как она завертелась бы, история эта... Но Усман допустил погрешение, а Филипп не знал, не ведал ни о чем.

Петр узнает о содержании протокола лишь много времени спустя, когда белугу отвезут на завод. А там ищи-свищи ветра в полюшке раздольном.

Шашин протянул один экземпляр протокола Усману.

— Чава́ мне суешь, вон Филипп начальник, ему давай.

— На твоей вахте происшествие, вот и бери, — настоял на своем Шашин. Он решил, что с начальником тони надо быть осторожным, а потому про-

тив обыкновения составил протокол под копирку в трех экземплярах. — И Чебурову будет. Чего шумишь?

Усман знал, что с милиционером шутить нельзя, и взял бумагу.

9

Водосгонный верховик буйствовал двое суток. Отложистый притонок заметно оголился, а залитый водой низкодол в глуби острова, где по утрам на восходе солнца и на вечерней зорьке играли рыбные косяки, опустел. Обнажились, будто выбрели на мель, молодые стрельчатые побеги камыша, буйно зазеленела дикая беловерхая копрушка, обсохшие кочкарники затянуло зеленым лягушачьим шелковником.

Лебедков поначалу радовался малой воде. Весна складывается удачливой, то́ни берут рыбу неплохо, а запоздалое половодье обещало удлинить сроки добычи — не придется, как в иные годы, свертывать промысел далеко до запрета.

Но паводок не только задержался, а и стал сходить с низин. Лебедков встревожился, но успокаивал себя тем, что верховые угонные ветры весной непродолжительны. И этот — отдуется и перестанет.

Так оно и вышло. На вечерней зорьке верхо́вый угомонился, а на утренней — как это часто случается — задул ветер с низу. Лебедков облегченно вздохнул: теперь-то морской ветер нагонит водичку. Однако его прогнозы не оправдались. Морянило вот уже третьи сутки, а вода все убывала и убывала.

На Лицевой между тем жизнь шла своим чередом. Вахта сменялась вахтой, в пересменках сдавали рыбу. С моря двинулись косяки сазана и леща. Бударки загружали всклень, по самые бортовые линейки.

Было отчего повеселеть ловцам; уловы богатые, заработки знатные. Дело шло к большим премиальным.

Ловцы, кивая на Петра и фонарщика Гришу, шутили:

— Удачливые ребята. Подшибут деньгу...

И только водосгон волновал рыбаков, заботил их. Даже Петр, новый на промысле человек, и тот чуял неладное.

А Филипп мрачнел день ото дня. Каждый полдень по рации он докладывал Лебедкову о ходе промысла, а в конце, под занавес, обязательно напоминал:

— Как там насчет воды, не узнавали?

Вначале директор завода успокаивал Филиппа, а потом стал раздражаться и, не дослушав, приглашал к разговору начальника другой тони.

Но и на других тонях беспокоились не только о выловленных центнерах и заработанных рублях.

— Я что вам, начальник водохранилища? — взрывался Лебедков.— Откуда воду возьму?

— Дак... смотреть больно. Икра гибнет.

— А мне радостно, да?

— Оно конечно... Только как же насчет воды-то, дадут али как?

И все повторялось сначала.

Усман, когда ему случалось присутствовать при радиоперекличке, старался успокоить Филиппа:

— Уй-бай, зачем нерва портишь? Начальник большой есть в город, пусть его голова болит. Даст вода, никуда не спрячет. Целый моря вода... что он — вся пить будет, да?

Почти каждодневно заезжали на тоню Миша-большой и Миша-маленький, интересовались уловами, следили, чтоб немерную рыбу не мешкая живьем выпускали в реку.

— Ничего нового? — интересовался Филипп. Инспектора-свояки понимали, что речь идет о злополучной белуге и что люди ждут от них действий. Однако ничего утешительного у них пока не было, да и быть не могло так скоро. О белуге слух прошел по банкам, дошел он, небось, до каждого рыбака и, конечно же, самого виновного. А коли так, то не дурак же он, чтоб продолжать шалить. Затаился, пережидает, не иначе. И нужно время какое-то, чтоб, переждав, снова взялся за черное дело. Так рассуждали Миша-большой и Миша-маленький.

В милиции тоже порешили, что торопливость лишь помешает. В иных условиях, возможно, и надо торопиться: собаку наладить по следу, дороги перекрыть, чтоб незаконный товар перехватить или же еще там что... Но вокруг тони — вода, острова, камыши, опять вода... Собака тут, даже самая разучёная, совершенно беспомощна. Улики искать: слизь, икринки, кровь и другое что — опять же безрезультатное дело, поскольку на каждой бударке, на каждой приемке и на тоне таких «улик» хоть отбавляй. Каждый рыбак за путину худо-бедно несколько красных рыб для себя разделает. И сам ушицу похлебает, и домой краснуху свезет, и соседа-неудачника угостит. Такой уж обычай, а он, как правильно замечено, сильнее даже самого строгого закона.

И в рыбоохране и в раймилиции люди смекалистые, бывалые. С обловщиками встречаются не впервой, их повадки изучили. А потому и не спешат. Знают: переждет-переждет браконьер да сызнова за прежнее возьмется. На всякий случай, однако, выше и ниже Лицевой за два-три плеса неприметно для стороннего глаза установили посты. Со стороны глянуть — палатка, а у яра с удочкой турист-рыболов, да и только.

Миша-маленький горестно разводит руками, а Миша-большой вздыхает.

— Темное дело.— Но твердо обещает: — Ничё! Доведаемся...

— Оно так,— соглашается Филипп.— Вы того... райинспектору говорили насчет воды?.. Нынче еще ходче пошла.

— Звонили в управление. Со всех районов трезвонят, разве мы одни? — охотно отвечает Миша-большой. Он рад, что разговор принял иной оборот.— Вчера вертихвост летал над полоями...

— Летал, летал,— обрадованно соглашается Усман.— Туда-сюда, туда-сюда... Чаво летал? Уй-бай, вертун какой...

— Полои снимали, чтоб не просто слова, а доказательства были,— объяснил Миша-большой.— Радиограмму в Москву отшлепают, а следом фотокарточки. С энергетиками не просто воевать. У них свой план: дать столько-то киловатт, и точка. Пол-Расеи небось Волга током питает. Попробуй-ка план нарушить, голову снесут! Вот и выходит, что энергетики — хозяева: хотят пустят воду, а не захотят — шиш получишь. И тут хоть расшибись.

— Как это не захотят? — горячо возразил Петр.— Что они, не понимают?

— Плохой слов говоришь, Мишка,— вмешался Усман.— У них план рыба губить, да?

— Пакостное дело, ребята, а как быть — ума не приложу,— сокрушался Филипп.— Весь урожай воблы так сгубить можно. Ходил я вчера на полои. Где обсохло — гибнет икра. Висит на камышинках, сморщилась, усохла. Делать надо что-то. И выше министра есть люди. Призовут, коль надо, к порядку.

— Еще как призовут! — шумел Петр.

— Во раскипятился! — засмеялся Миша-малень-

кий.— Без тебя... обладят. Твое дело — рыбу ловить. А мы уж как-нибудь...

— «Как-нибудь»...— уши развесили. Обловщика вон и то не найдете...— Петр не на шутку рассердился.— А то... не мое дело. Все — мое дело. Возьму вот и напишу самому рыбному министру Ишкову, а то и выше, чтоб нашли управу на кого следует.

— Правильна, Петряй,— поддержал Усман.— Пиши, пущай этот министр электрический мала-мала и про рыбак помнит... Черный икра он ашает, сушка тоже любит, а вода не дает...

Спорили ловцы, горячились, обидными словами обменивались. А в это самое время из области в Москву шли телеграммы и письма, велись долгие телефонные разговоры. И в министерстве рыбного хозяйства и в Главрыбводе, призванном охранять рыбные запасы страны, и в министерстве энергетики и электростанций десятки людей озабоченно и настойчиво искали выход.

Конечно же, ни рыбники, ни энергетики, ни кто другой, так или иначе связанные с образовавшейся ситуацией, не были пагубниками Каспия, не жаждали и помысла не имели уничтожить запасы моря. И если бы ненароком кому-либо из лиц, втянутых в конфликт, сказали эти укорные слова, он, безусловно, посчитал бы себя глубоко и кровно обиженным. Но тем не менее каждый прежде всего отстаивал свои ведомственные интересы, настаивая на своем, порой не задумываясь над тем, что лишний день затянувшегося спора, даже лишний час несогласия — это десятки и сотни миллионов невыклюнувшихся мальков, сотни и тысячи центнеров погибшей рыбы.

Энергетики, большей частью по вине службы погоды, оказались далеко не в благоприятных условиях. В ожидании теплой дружной весны было решено

как можно скорей сбросить лишние запасы воды из водохранилища.

Сбросили.

И одновременно в верхах началось похолодание. Поступление большой воды задерживалось. И тогда-то придержали сброс: не оставаться же на лето без воды, не останавливать же гидростанции!

Промысловикам, казалось бы, на руку это. И Лебедков попервоначалу радовался: меньше воды — богаче уловы, заработки, почет, награды... Но когда Лебедков понял, что его личные блага и успехи рабочих завода выкраиваются за счет большого ущерба, наносимого морю, а значит и народу, он забил тревогу.

Мысли Лебедкова, его действия были сходны с мыслями и действиями подавляющего большинства промысловиков, начиная от рядовых ловцов — Петра, Усмана, Филиппа — и до самого главного добытчика — министра Ишкова.

Оттого-то вся ловецкая держава обеспокоенно заволновалась в ожидании конца разногласий. Само собой понятно, что долго продолжаться такое не могло. Разум и хозяйская забота о будущем должны были одержать верх. Верховую снеговую подсвежку ждала Волга, ждали ее банки, протоки, ерики, поля, уже обсыхающие, покрытые буйными зеленями низкодолы, ждали ловцы, работники рыбоохраны, ученые, руководители рыбных заводов и научных институтов — все, кто имел к Волге и Каспию хотя бы малейшее отношение. Но все их нетерпение было несравнимо с невыносимым ожиданием подсвежки бесчисленными рыбными косяками. Природа требовала свое: сроки уходили, икра выливалась в холодную воду, не способную поддержать жизнь в малюсенькой беспомощной икринке.

10

Прорываясь под гигантскими заслонками, водопадами гудела вода в тот день, когда белуга зашла в шлюз. Тогда еще не ведали о предстоящем похолодании в верховьях и были приоткрыты все створы — спешили до большого паводка сбросить зимние запасы. Лавины воды падали в котлован с оглушительным шумом. Тело плотины, своей неприступностью напоминавшее могучую стену древней крепости, мелко дрожало, и казалось, что рукотворное море вот-вот опрокинет ее, сокрушит, перетрет в щебенку.

Со стороны ворот, откуда только что приплыла белуга, что-то застрекотало и огромной тучей надвинулось на рыб. Белуга метнулась вперед, потом в сторону. Но всякий раз на пути ее вырастала осклизлая зеленая стена. Наконец белуга нашла тень и схоронилась в ней, а когда затишило, и совсем успокоилась.

Но ненадолго. Впереди тускло блеснул просвет, неведомая сила потянула в него воду и вынесла белугу на холодный простор. Сверху опять гулко загудело, и вслед ей двинулась та же густая тень. Белуга устремилась на течную воду, но и с верховой стороны, встречь ей, с речной быстрины нестройно загрохотало, задребезжало, застукало.

Вся эта шумиха, создаваемая движением судов из шлюза и в шлюз, вспугнула белугу, и она, неразумная, молнией кинулась с тихой струи в тугую заверть. И в тот же миг сильное ее тело подхватило, закрутило, бросило вниз. И не осталось у нее силы, чтоб шевельнуть махалкой или же плавниками. Если это ей иногда и удавалось, тело не слушалось, а жило и двигалось, подчиняясь воле реки.

Бешеное движение это длилось недолго — считан-

ные секунды. Под конец вода тисками сжала ее с боков и бросила под заслонку в тридцатиметровую водяную ступу.

Оглушенная падением, белуга вновь оказалась в котловане. Холодные вихри подхватили ее и понесли вниз по реке. Силясь вырваться из их цепких струй, белуга остервенело вскинулась, и в тот же миг острая боль в жабрах прострелила тело.

Белуга потеряла способность что-либо ощущать и видеть. Будто снулая, она перевернулась кверху брюхом и, уносимая течением, стала медленно всплывать на поверхность. Из жаберной боковой прорехи сочилась тонкая струйка алой крови.

А внизу, у самого дна, исполняя недобрую службу, холодно поблескивая, торчал металлический штырь, забытый и в свое время не убранный строителями. Чуть поодаль из бесформенной глыбы бетона навстречу воде целили острые жала еще несколько стержней. А дальше еще, еще.

Позднее сюда спустятся аквалангисты, сфотографируют это подводное кладбище железа и бетона. Позднее рыбники заставят строителей и эксплуатационников расчистить дно котлована и подходные к плотине пути.

Все это будет позднее.

А пока дно усеяно искореженным железом и битым бетоном, пока сплывает вниз по Волге изуродованная белуга.

Если бы только одна...

11

В конце недели собрались мужики посубботничать дома: побаниться, попокоиться денек, отдышаться от путинных забот. И Филипп не удержался от

соблазна понежить старые кости в банном пару — две недели не навещал дом.

Вахту отстояли на рассвете, едва засерело на востоке, с уловом разделались до восхода. А когда солнце плеснуло на плёс тепло и свет, Усманово звено, разместившись на двух бударках с подвесными моторчиками, подъезжало к заводскому поселку.

Поселенье рабочих ничем не отличается от низовых ловецких сельбищ. Редкие деревенские избы чередуются невеликими садовыми участками, распахнутыми окнами удивленно глазеют на Белужку. И лишь в центре поселка, где на сваях покоится заводской плот, поодаль от берега высятся рыборазделочные цехи, холодильник, вешала́ для вяления. У заводского причала перестукиваются баркасы, на деревянном настиле скрипят краны — выгружают из прорезей рыбу, снуют люди. Дымит коптилка, огромной меловой глыбой белеет холодильник.

Усман в добром настроении. Он хлопает Петра по плечу, говорит:

— Мой Марья хорошо бань топит. Пар даем, веник спина гуляет. Напарим — до другой бань не забудешь. Уй-бай, хорошо...— Усман уже видит себя в бане, довольно щурит и без того узкие, будто осокой прорезанные глаза.— Магазин зайдем, арака берем. Марьин пирог с вязиг ашать будем.

Все смеются над его словами, а он нисколечко не смущается, балагурит:

— Девка мой полюбишь — бери. За так отдам.

— Усман-то наш женитель, оказывается, неплохой. Обабит он тебя, Петро.— Филипп громко смеется.— Долго, пожалуй, не проженихаешься, в один момент осупружит. Девок у него хоть отбавляй. Старшая задевовалась давно.

— Надо посмотреть,— отшучивается Петр.

...Бударка подрулила к мостинке. Ловцы вытащили лодку на берег к плетеной ветловой забойке, накинули цепь на обрубок кола и стали расходиться.

Усман жил на крутоярье. Внизу у заплеска такая же забойка, сходни к воде. На яру — подворье: камышитовая пятистенка, кухня-мазанка, баня, многочисленные загоны и хлевушки для коровы, овец и птицы.

К немалому огорчению Усмана, кроме Марьи, широкобедрой, крупнокостной, с улыбчивым чернявым лицом, дома никого не было: две старшие дочки ушли в соседнюю деревеньку тетку проведать, малая — на улке где-то с ровнями резвится, а та, что старшее́,— в школе.

Марья, с любопытством поглядывая на Петра, наскоро собрала мужу белье. Она была полной противоположностью мужу — узкотелому, поджарому, с опалым лицом.

— У вас-то есть сменное? — поинтересовалась она у Петра.— Или приготовить?

— При себе обязательно вожу, спасибо.

Баня стояла в глубине двора у прясленой изгороди. Камышитовый остов щедро обмазан глиной и коровяком. Усман, видимо, любил baниться. Оттого и баньку поставил просторную, высокую, с большим окном, тогда как в понизовых селах принято рубить крохотные оконца — в одно-два звена.

Раздевались в предбаннике — светлом и чистом, без единой паутинки по углам, с нажелто выскобленными полами. Усман разоблачался не спеша, оттягивая тот долгожданный миг, когда его обволочет пар и приятная истома охватит тело. Он стянул с себя густо засмоленные залубеневшие брюки, вздыбил над головой косоворотку, вылез из нее, и, когда выворачивал рубаху с исподу на лицо, из нагрудно-

го кармана выскользнула многократно согнутая и уже потершаяся на изгибах зеленоватая бумажка.

— Мильцанер протокол давал — чава с ним делать? — Усман подобрал с пола бумажку, расправил ее и положил на лавку, рядом с собой.

— Храни, глядишь, и сгодится.

— Контор ходим, ход пущаем,— пошутил Усман и проскользнул в дверь.

И в бане, теплой и светлой,— образцовая чистота. Марья все сделала, чтоб опровергнуть поговорку: баня всех моет, а сама грязна. Вдоль смежных стен — длинная углом лавка, напротив, впритык с калильной печью, полок в рост человека, с подголовьем. По углам деревянные вязанные орешниковым обручем бочки с холодной водой; развалистый дубильный котел, вмазанный в печь, исходил паром.

Усман плеснул в калильную печь ковш горячей воды, и в тот же миг белесая струя с шипом вырвалась из печной пасти и густым туманом разлилась под потолком. Усман вытянул из котла с кипятком связку солодковых ветвей с мелкими резными листьями и протянул Петру.

— Бери. Веник в бане — самый большой начальник. Усмана лупит, Лебедкова лупит, и секретарь райкома, и министр жар дает — никого не боится. Ловец без бань никак нельзя. Вся простуд гоняет.

Петр недолго пробыл в бане: до красноты надрал мочалкой тело, облился, выскочил в прохладный предбанник и с удовольствием и успокоением вдохнул свежий весенний воздух.

Разгоряченное тело отходило медленно. Дождавшись знобкой свежести, Петр неспешно оделся, и тут его взгляд упал на зеленоватый лист бумаги. Петр машинально потянулся, расправил исписанный бланк и бегло пробежал по нему глазами. «Старая

зарубцевавшаяся рана на скуле...» Не осознанное еще разумом чутье остановило взгляд на этой строке, в памяти шевельнулось что-то знакомое, но позабытое. Петр недоумевал: что бы это значило? Почему слова из протокола заставили его задуматься? И тут его словно озарило. Белуга! Так это та самая белуга, которую они с Усманом с весов сталкивали в прорезь. На ее скуле тоже была зарубцевавшаяся рана. Острые зазубрины тогда больно врезались в руку Петра...

В это время дверь распахнулась, и Усман, в клубах пара, сияющий, довольный паркой, вывалился в предбанник.

12

Филиппова изба глядела на Белужку двумя небольшими окнами в резных голубых наличниках. По фасаду бревенчатого сруба — палисадник, обнесенный тонкими ошкуренными ветловыми жердями. За жидкой оградой две карликовые вишенки в окружении круглолистых мальв — без цветов и даже еще без бутонов. На высоких стрельчатых стеблях огневками зажгутся цветы в разгуле комариного лета, а пока мальвы стройными, чуткими к ветру стайками разбежались по палисаду.

Свежий сруб купил у плотовщиков еще отец Филиппа. Четырехстенка была рублена в приокских лесах из строевого хвойного избняка и на плоту сплавлена в Понизовье. Старик Чебуров поставил ее высоко на каменный фундамент, горницей к реке, стряпной половиной во двор.

Филипп, когда вернулся с фронта, нашел избу осиротевшей. Жена оставила десятилетнего сына городской тетке, а сама укатила с проезжим то ли на

Урал, то ли в Сибирь. Оконца были наглухо заколочены, двор зарос бурьяном, тесовая крыша прогнила, покоробилась. Филипп поступил на завод разнорабочим. В свободные деньки потихоньку, не спеша приводил в порядок дом.

Сына к себе не взял, тетка рассоветовала. Мальчонка учился при заводе в ФЗО. Так он и присох к городу.

С той поры Филипп вдовствовал. Особой страстью к женщинам и в молодые-то годы не страдал, а если по-холостяцки иной раз и наведывался к одиноким бабам, так ничего предосудительного в том не видел. Но жениться зарекся.

Было поначалу труднехонько мужику хлопотать по домашности: варить, стирать, мыть. Однако освоился. Но домой наведывался редко — в баньке помыться или по другим неотложным делам — и подолгу не задерживался.

Вот и сегодня сидел он после баньки на веранде, попивал чаек и нетерпеливо посматривал на часы. И не знал, что в это же самое время к нему спешит Петр.

Странный этот Усман. Когда Петр, не дожидаясь, пока тот облачится в чистое, объяснил про слова в протоколе, про растерзанную белугу, которую днем раньше сдали они, Усман спокойно, будто ничего серьезного не произошло, сказал:

— Он, Аноха. Мы эта давно знал.

— Кто мы?

— Я знал. Жулик Аноха, мошенник.

— А что же молчал?

— Чава́ скажешь? — лениво отозвался Усман, натягивая хлопчатные брюки.

— Как «чава»! — осерчал Петр и тут же застеснялся своей несдержанности.

— Ты Аноху за рука поймал? Чава кричишь?

— Ну, так примета есть!

— Какой примет? Нет примет.

— Ну вот же, вот! — Петр сердился и тыкал пальцем в бумагу.

— Протокол есть, белуг нет, давно консервная банка лежит... Какой тебе еще примет!

И только тут до Петра дошел смысл Усмановых слов. А ведь прав он! Белугу давно отправили на завод, разделали. Попробуй доказать, что эту белугу ранее уже сдавали рыбаки на приемку! Не докажешь.

— У Аноха семь балашка,— ворчал тем временем Усман.— Аноха тюрьма пойдет, кто дети кормить будет? Дай бумаг! — Усман зло выхватил из рук парня протокол и разорвал на мелкие части.

Петр после этого и совсем растерялся. Выходит, делай Аноха что хочешь, а Усман жалеет его.

— Ты же сам кричал на притонке, мол, в тюрьму надо сажать!

— Кричал, верна,— согласился Усман.— Кричать можно, сажать зачем?

— Вот те на! А если он человека убьет, тоже пусть гуляет?

— Ты, Петр, дурной, да? Зачем такой слов говоришь? Человек...— Усман замялся, подыскивая нужные слова.— Это... человек! Бандит тюрьма места. А белуг потрошил — мала-мала озоровал.

— Хорошее озорство! — возмутился Петр и засобирался: — С тобой, Усман, каши не сваришь.

— Зачем каша варить? Марья пирог готовил...

Раздосадованный Петр решил поговорить с Филиппом. Надо же что-то предпринять. С Усманом дело не обладишь. Засадит сейчас за пирог, будет поить водкой.

Петр еле отвертелся от хлебосольного хозяина и после долгих расспросов отыскал наконец Филиппово подворье.

Филипп от души обрадовался Петру.

— Не ждал. Ну, заходи. Чего у порога присох? Вот сюда приземляйся,— Филипп подтянул табуретку к столу.— Чаёк попьем.

— Я ненадолго, дядь Филипп. Дело тут такое...

— Пришел коль, что торопиться. Тем более что и не без дела.

Филипп подставил уемистую чашку под кран самовара. Тронул верток, и струя крутого кипятку ударила в фарфор. Петр тем временем рассказал ему о своей догадке и про разговор с Усманом.

— И выходит, что потрошеная белуга та же самая, которую мы раньше Анохе сдавали.

Филипп вроде бы и не слушал его, посматривал на реку и противолежащий раздол, изрезанный логовинами, еще неделю назад полными водой, а ныне, после водоспада,— яркой предлетней зеленью.

— Н-да... Фокус — ничего не скажешь,— запоздало отозвался Чебуров.— Дал маху Усман.

— Вот и я говорю, если бы он прочитал перед тем, как подписать...

— Упустили время. Сразу коли нагрянуть, можа, и нашли бы. Теперь, небось, упрятал икру али сбыл давно. Пройда этот Аноха... Ну да что сокрушаться-то. Придумаем что-нибудь. Со свояками надо посоветоваться. Они ребята бывалые.— Это о Мише-большом и Мише-маленьком вспомнил Филипп.

13

Караульня Трехбратинского поста на крутоскатом речном лбище, под высоченными осокорями.

Отсюда верховый плес виден до самого окоема, где на разделе воды и неба еле слышно ворчит тоневой дизель да отстукивают последние путинные дни баркасы-метчики. У песчаного подмытого водой яра застыла косная лодка, а рядом, наполовину вытащенная на берег, задиристо вскинула нос дюралевая шлюпка.

Второй день стояла на́тишь — предвестница близкого шторма. Миша-большой и Миша-маленький на зорьке, уже светком, вернулись с дозора, выспались и теперь лежали каждый на своей кровати. И сон уже не в сон, и подниматься охотки нет.

Миша-маленький прислушивается к далеким звукам тони и уже в который раз отмечает про себя, что Филипп — мужик деловой, заботливый. Другой ни за какие пряники не решился бы расчистить зарастающий плес. Трудов положили — им да богу одному известно. Большую работу исполнили. Зато теперь не нарадуются. И Белужка вширь раздалась.

— Без рабочих рук и золото — глина,— вслух говорит он.

— Ты чё? — лениво отзывается Миша-большой и теребит рыжий ус.

— Про Лицевую... Про Филиппа.

— Ну, дак... Мужики работливые собрались. Про таких оно и говорят: как сердце стучит, так и рука строчит.

— Факт.

И опять свояки лежат, молчат, рассуждают каждый про себя. Не только про Филиппа и Лицевую, конечно. И Филипп и Лицевая только повод, ниточка, за которую обязательно тронешь, прежде чем о главном надумаешь, потому как это главное связано и с Филиппом и с Лицевой, А оно, это главное, жить спокойно не дает,

Миша-большой: — На Лицевой, понятно, такое дело не провернешь, если бы даже и пожелал кто. Три десятка человек — тут шила в мешке не утаишь. А при таком старшом, как Чубурок, подобная дикость и в мыслях не народится. Нет, не могли на Лицевой белугу потрошить. Отпадает эта версия.

Теперь о бударочниках. Тута, конечно, все проще. На бударке, самое многое, двое промышляют, а то и один. Столковаться легко, в два счета можно снюхаться. Засунулся на лодке в кундраки и верши, что в голову взбредет. При такой вольготе да безглазье и человека можно тюкнуть. Было же в прошлом лете такое. Выехали со свояком-коротышом на Каменскую бороздину в сумерках, а там обловщики шуруют. Развернули дюральку, да и туда. Те, обловщики-то, выбрали из воды режак и тикать. Тоже на шлюпке, да что-то все мотор у них чихал: то ли свеча отказывала, то ли в карбюратор вода попала. Одним словом, стали их настигать. Своячок кричал: «Стой!» Куда там, начхали они на него. Мат-перемат вместо слов нормальных.

А потом как саданут из охотничьего ружья, да не дробью, а пулей, которой кабанов бьют. Просвистел свинец над головами. Своячок-то у кормы в кулачок сжался и рулит по-прежнему следом за бандюгами. Браконьеры, жулье это несчастное, еще раз пальнули, уже по корпусу срикошетила пуля. Что дальше приключилось бы, никому неведомо — то ли смертоубийством, то ли тюрьмой дело обернулось бы за стрельбу.

Смекнули, однако, браконьеры, что стрельбой нашего брата не испугать, и хитрость выкинули — бросили под нашу шлюпку сеть-режак. Мотор взвыл и захлебнулся.

Пока ножом срезали с винта режак (а он, пара-

зит, капроновый), они и ушли. Страху тогда натерпелись мы со свояком, и все даром — впотьмах даже не признали обловщиков. И уличить нечем.

Выходит, от бударочника можно ожидать всякое безобразие, поскольку он безартельный и сам себе голова. Из сотни, возможно, один такой, а все же есть он, готовый ради копейки на подлость и преступление.

Таким вот образом рассуждал Миша-большой. Но и ему в своих суждениях не все до конца ясно. А загвоздка вся в том, что от Лицевой до бударочников колхозных верст семь-восемь. В состоянии ли полуживая, выпотрошенная белуга осилить такую дорогу? Вряд ли.

Пока Мишу-большого озаряли подобные мысли и терзали сомнения, его свояк тоже не дрёме предавался. Совсем как в сказке: и спать не спал, и дремать не дремал, а думу думал. Но его волновал этот вопрос несколько в ином плане.

Миша-маленький: Свои набедокурили или же с городу? Там жулья поболе, но мелкота, размах не тот. Намедни накрыли одного. Дур-р-рак! Пожилой, степенный, а тупой. Леской натаскал сверх положенного. Ну, бывает: азарт и протчее... Взвесили когда — чуть ли не две нормы. Свояк-эт велит ему отобрать положенные пять кило. Тот сдуру самых крупняков отсортировал. От баламут! Подумал бы как след, прежде чем вред себе причинять. Не удержался я, сунул этому городскому губошлепу мелкоту в сумку, а он на дыбки! «Не командуй,— говорит,— какую хочу, ту и беру, я наловил. Твое дело протокол составить и наказать».

Вот уж право: старые дураки глупее молодых. Самую что ни на есть мелкоту оставил. Подсчитали:

семьдесят девять штук. По два рублика — за полторы сотни штрафу. И поделом, голова два уха.

Положим, этот охломон с белугой слабак связываться. Тут умётель орудовал, дошлый паршивец. Не иначе — местный. Сельские — они все умеют, и хитрости им не занимать. В позапрошлую жаркую путину привел след на ферму. Порасспросили, как положено и кого положено, обыск в полной форме нельзя учинять. Вдруг мимо — шума тогда не оборбраться. Для законного обыску из прокуратуры бумага нужна. Да разве по каждому случаю к прокурору набегаешься? Вот и ходили, смотрели, примечали. Уж собирались уходить, свояк — большегон усатый — у поленницы притормозил. Давняя поленница песком засыпана, паутиной запеленатая, с краешку, однако, потревоженная. Вроде бы разбросали поленья баловства ради, да и опять уложили. Свояк мне моргает — рискнем, мол. Решились. Так две бочки балыков обнаружили — запасистым мужичок оказался.

Свои-то, местные, шныряют туда-сюда без передыху и день и ночь, поди разберись тут. С горожанами легче. Их за версту отличишь: лодки, как бабы, расфуфыренные, да и сами все больше ухоженные да гладкие, амуничка привозная, вся в замках, и где положено и где не положено: на коленях замки, на заднице замки... Подъедешь к ним — опять же обращение чувствуешь. С улыбочкой, да все на вы. Не то что сельские — и на знакомого и на незнакомого тыкают. Легче, легче с городскими. Они и ящики сами пооткрывают и в каюту пригласят: смотри, мол, не сумлевайся. Все на виду. Иной, конечно, и схитрит, припрячет два-три сазанчика или судачка. Не без того. Но схоронить матерую белугу — извини-подвинься. У него спрятного места для

того нет. Вот и выходит, что нашенские сблудили. Не иначе. И скорей всего эта лиса...

Миша-маленький вскакивает с кровати, в упор смотрит некоторое время на свояка и говорит.

— Аноха, не иначе...

— Он,— отзывается Миша-большой.— Заметил вчерась на приемке: извивается, сука, как веревка на огне.

— Склизняк.

— Однако голыми руками такого не возьмешь. Тут нужны уличительные факты,— рассудительно говорит Миша-большой.

— Сказано — не доказано, факт,— отвечает Миша-маленький.— А давай-ка, свояк, посидим ночку-вторую у приемки. Небось и Аноха успокоился, если он, конечно. Шумок прошел и стих, а?

— Посидим. Стемнеет как, на шестах и подъедем, чтоб втихую. Ну дак встали. Пожуем малость, да и на Каменскую. Давно там не бывали.

— Наведаемся,— соглашается Миша-маленький, подтягивает штаны и выходит из караулки: пора чай заваривать.

14

Каменская бороздина, о которой вели речь Миша-большой и Миша-маленький, не обозначена ни на одной географической карте, но имеет очень примечательное и интересное бытословие. Глубокой падью рассекает она волжские россыпи с юго-востока на северо-запад. Зарождаясь в пучине моря, верхним своим концом упирается в черни — камышовые крепи вперемежку с ветловым редколесьем.

Не случайно еще два с половиной века назад неугомонный государь российский Петр I остановил

свой выбор на Каменской и повелел с присущей ему твердостью обратить причерновой предел ее в бухту, поставить причалы, дабы могли суда каспийские швартоваться. А заодно и столбовую дорогу насыпать из бутового камня от бухты до губернского центра, разбалуй-города Астрахани.

Согнали в камышовую чащобу, в ненасытное комариное царство, работный люд, поставили бараки, возвели церквушку рубленую, плотами гнали лес, подводами — железо, на судах с каменистых побережий Каспия подвозили бут...

И быть бы царскому велению точно исполнено, кабы не смерть Петра. Почуяв послабление, управитель-строильщик зажил вольготно, сорил казной, пил несусветно.

Спохватились власти, учинили взыск, да было поздно. Похватали, пытали кого положено. Даже попик не избежал кары. Присказка есть, что, мол, поп и петух не евши поют. Этот слуга божий и ел, и пел, и пить не забывал. Сослали и его на каторжную жизнь — в Сибирщину.

С управителем иная история приключилась. Был он в отъезде, то ли в Москве, то ли в Петербурге самом. Только так вышло, что, возвращаясь, остановился он на постой в казацкой крепостице Черный Яр и тут узнал о нависшей над ним участи. Стройщик этот был человеком широкой натуры, недрогливый.

Скликнул он голытьбу черноярскую, распечатал по кабакам винные бочары. А голякам что? Гулять не устать, поил бы кто. Устроил разудалый управитель себе помины при жизни своей, упоил в усмерть ватагу голышную, а сам опосля поминального гульбища разогнал повозку барскую, да с кручи и в Волгу.

Мимо этой кручи и проплывала еще в свою бытность белуга, после того как, пораненную у плотины и вконец обессилевшую, несло ее водой вниз по Волге. Подталкивало рыбину водотоком, тянуло по порожистому дну, где нашел свой конец незадачливый строитель Каменской бухты. Ничего, конечно же, про то белуга не знала, не ведала, потому как самой природой не дано то бессловесной рыбе.

Немало дней и ночей сплывала она по течению, пока уже в низовье не окрепла, не учуяла в теле вернувшуюся силу. А когда пришла уверенность в движеньях и вешняя вода оказалась неспособной повелевать белугой, она была в устье Волги. Искать верховых нерестилищ времени не оставалось: икра дозрела, налилась молоком. Приближался икромет.

Вот тут-то инстинкт и подсказал ей: надо плыть на Каменскую. Много лет назад она опросталась там. И в тот год поджало время. Еще невода морские ежепутинно стояли на северных отмелях. В ту весну косяк белуг долго плутал меж гундер и сетчатых крыльев, пока не приметил окно. Голубыми молниями одна за другой метнулись белуги в проран... и обманулись.

В просторной мотне разнопородное рыбье стадо — укрощенное, безразличное. И те, что последними заскочили в ловушку, пометались-пометались и тоже унялись. Было то ночью, а утром к мотне на подчалках съехались ловцы, выбрали ядро, сузили мотню и побросали пленников в лодки. Спустя малое время просунули белуге под жабры колючую хребтину и выбросили за борт. Она рванулась прочь, но хребтина осадила ее.

На кукане продержали их долго. Весна та была непогодистой. Налетевший с севера шквал поломал гундеры, положил невод, и ушла добрая неделя,

пока невод восстановили. В те дни было не до белуг: закуканены, ну и пусть плавают. Рыба сто-жильная, выдюжит.

Шквал спас белугу — перетер кукан о борт. В одно утро она почувствовала свободу, вильнула лунокосой махалкой и ушла вглубь.

Тогда-то она и выметала икру на Каменской. Всю весну и лето белуга плавала с осклизлой истлевающей веревкой в жабрах. Лишь к холодам та сгнила и отвалилась.

Давнее прошлое... Ничего-то белуга не помнит. Лишь удивительное чувство, данное природой всему живому,— инстинкт, напомнило ей о Каменской бороздине, о ее стремительных водотечах, о каменисто-бутовом дне, без чего красная рыба не может выдавить из себя икринки.

Белуга еще не знала, что не дойдет до Каменской, что смертный день ее уже настал и что она в последний раз видит холодный оранжевый круг над рекой.

15

После натиши задула моряна. На травных лугах, где еще совсем недавно было море воды и буйствовал икромет, снежными мазками белел цветущий курослеп. Не вскипали полои по утрам от шумных и бесчисленных рыбных косяков, не пугали всплеском осторожных белых и голубых цапель. По всему низкодолу буйно цвело разнотравье. И лишь местами, подернутые шелковником, поблескивали невеликие колужинки, в которых еще теплились нарождающиеся рыбьи жизни.

Из области сообщили, что вот-вот дадут воду, но все оставалось по-прежнему, и это волновало ловцов.

Усманово звено вернулось на тоню в тот же день. Шторм только-только разыгрывался. Рябь зловеще золотилась на плесе. Волны-толкунцы с заиндевелыми кудряшками наскакивали друг на друга. А к вечеру, когда заступили на вахту, моряна крепко заволни́ла плес, погнала встречь воде спо́рные волны, накатывала их на открытый волнобойный притонок.

Ночная смена измотала ловцов. В полночь к исходу вахты белопенные валы с шумом перекатывались по однолуке. Буйный штормяк-волногон, кажется, осатанел вконец.

Красный фонарь бешено скакал в темени. Гриша почти невылазно дежурил на лодке-фонарке. На берег выскакивал ненадолго, когда подходила мотня, чтоб поразмять отекшие ноги да помочь ловцам перелить рыбу в бударки.

С вахты пришли сморенные, уснули крепким, без видений сном. А утром, проснувшись, увидели: штормило, как и ночью.

Петр вышел из казармы. На притонке с сигаретой в зубах сидел Филипп. Петр присел рядышком и тоже закурил.

— От дает, а?— с непонятной радостью прокричал Петр.

— Свежак хорош! Аж ноздри отворачивает,— одобрительно отозвался Филипп.— И воду малость придержало в реке. До большой воды поштормило бы, а?

— Не слышно, как там?

— Спрашивал, Лебедков только руками разводит. Обещают вроде бы, а нет пока. Вот канитель какая.— Помолчав, Филипп предупредил:— О вчерашнем никому пока не трепись. Слово вылетит — не словишь. За своими щеками не удержишь, за чужими и подавно. Инспектора подъедут, скажем, чтоб Ано-

хой занялись. Он, конечно. Кому больше? Однако доказать надо, все наши догадки — шиш на постном масле.

— С Усманом не разговаривали?— спросил Петр.

— Поговорю,— отозвался Филипп, по-прежнему глядя на взлохмаченный плес.

Филипп не сказал Петру о том, что вчера, после возвращения на тоню, он зазывал звеньевого в свою боковушку. Усман догадался, о чем пойдет разговор, и сидел насупленный.

— Рассказал мне Петро...— начал было Филипп.

— Что Петра! Котенок еще твой Петра!— вскинулся Усман.— Ево голова плох варит!

— Ты не кипятись,— после короткого молчания сказал Филипп.— Думаешь, только ты такой сердобольный, а мы пеньки бесчувственные. Перед Петром неудобно. Будто мальчишка ведешь себя. Зачем протокол порвал? Жулика выгородить хочешь?

— Жалка, Филипп, — признался Усман. — Его Дашка как будет жить? Полный дом балашка.

— Детей в беде не оставят.

— Когда мы остались без ата...

— Ты, Усман, одно с другим не путай. Твой отец землю свою, людей защищал. А этот грабит, браконьерничает.

— Сапсем плох дело,— засокрушался Усман.— Мы с Анохой вместе рос, одна чашка уха хлебал.

— Все это так, Усман. Только пойми и другое: ты, рабочий человек, прикрываешь жулика. Где честь твоя рабочая? Это доходит до тебя?

Разговор был долгим и, видать, ни к чему не привел. Филипп, вконец раздосадованный на Усмана, осерчал не на шутку и сказал в сердцах:

— Пиши объяснительную. Все, как было, изложи. Милиция разберется, что к чему.

И Усман в долгу не остался, тоже вспылил:

— Ничава я не видал! Никакой жабра-мабра. Твой Петра все придумал.

Он ушел расстроенный, со вчерашней вахты обходил начальника тони и, конечно же, никакой объяснительной не приносил.

Обо всем этом Филипп решил пока не говорить Петру. Может, Усман еще одумается. Хотя, кто знает, какое коленце выкинуть может! А Петр, будто догадываясь о мыслях Филиппа, спросил:

— Неужели Усман будет Аноху прикрывать?

— Не думаю,— неуверенно ответил Филипп.— Усмана ведь тоже понять надо. Я не оправдываю его, нет. И все же... Когда отец у него ушел на фронт, на иждивении Усмана семеро детишек и больная мать остались. А самому пятнадцатый год шел. Голодали, рассказывают, по-дикому. Натерпелся Усман вдоволь. Оттого у мужика и жалость к Анохиным детям.

Филипп поднялся с рундука и сказал, будто отрубил:

— Ладно, это устроится. Воды нет — вот беда так беда, парень. Тут дров можно больше наломать. А про Аноху ты пока помолчи, никому ни-ни...

Петр в ответ не промолвил ни слова, лишь отвел глаза от Филиппа. Не сказал он и того, что Гриша-фонарщик уже знает обо всем. И поведал ему о вчерашнем не кто иной, как сам Петр, когда они перед вахтой натягивали на себя ловецкую амуницию. И Филипп, сам того не подозревая, надоумил Петра разоткровенничаться перед Гришей.

Вчера, когда Петр гостевал у Филиппа, разговор ненароком зашел о директоре завода. Филипп пил чай и нахваливал Лебедкова: он и руководитель хороший, и хозяин что надо, у него каждая копейка

гвоздем прибита, и человек обходительный, не накричит, не обидит подчиненного, и справедлив, легкости в жизни не ищет и детей своих тому не учит.

— С Гришкой-то своим ишь как обошелся? В неводные определил. Другой бы при конторе оставил, а Лебедков...

— Это наш Гриша?— поинтересовался Петр.

— Ну! На врача пошел учиться, да и бросил. Вот Лебедков и рассудил: нечего, мол, насиловать себя да штаны протирать, если лекарская наука не по душе. Оно по справедливости коли решить, так и должно быть: отслужит в армии, поймет, что к чему, а пока — пущай работает, приоденется малость. Не все же из отцовского кармана. Он, карман-то, хоть и директорский, не бездонный.

С того или не с того, только зауважал Петр Гришу, а когда оказались на тоне, разоткровенничался с ним. Гриша, выслушав его, сказал убежденно:

— Аноха это. Его на заводе не любят. Хитрюга, тут обыск не поможет. Где-то прячет он.— И вдруг предложил:— Слушай, я здешние места хорошо знаю. Давай в лесу возле приемки пошарим.

В словах Гриши да и во всем его обличии было столько мальчишеского, что Петр улыбнулся.

— Что, не веришь?— насторожился Гриша.

— Верю. Только несерьезно все это... будем по лесу рыскать, как кладоискатели.

— Аноха на приемке хранить икру не будет,— уверенно сказал Гриша.— И если еще он ее не сбыл, тут, поблизости, где-нибудь прячет.

«Вроде бы все логично»,— подумал Петр и согласился неохотно:

— Ну что ж, посмотрим, получатся ли из нас Шерлоки Холмсы.

— Смеешься,— обиделся Гриша.

— Шучу,— поспешно успокоил Петр товарища.

— Вахту отстоим, и айда...

— Ночью-то?— возразил Петр.— Лучше завтра, после смены.

— Договорились!

И про этот уговор с Гришей не сказал Петр начальнику тони: решено было никого в дело не посвящать.

...После дневной смены, наскоро пообедав, Гриша-фонарщик небрежно сказал Петру:

— Побродим по острову? Посмотрим, как там на полоях.

— Почитать хотел,— для виду заупрямился Петр,— а впрочем, пошли.

— Уй-бай, такой шторма гулять?— удивился Усман.

— А чего не прогуляться,— отозвался Гриша,— свежий ветерок...

Филипп строго глянул на ребят: что замыслили? Но выпытывать не стал.

Закурили ребята, руки в карманы — и зашагали не спеша, будто и впрямь на прогулку собрались. Миновали притонок, направились в ближайший ветловый лесок.

Солнце зависло над густолесьем. В залитых низинах хороводили пучеглазые лягушки, скакали по залитому водой цветистому разнотравью, а где поглубже, раздвигая стрелки луквенника и аржанца, табунились сазаны: впереди крупная медлительная матка, следом, мешая друг другу, с десяток самцов помельче, побойчее.

Икромет. Над еще оставшимися полоями день-

деньской звенит разноголосица: кваканье лягушек, сорочьи перебранки, утиный кряк, посвист куличков и всплески играющих рыбных косяков.

— Пойдем по лесу,— предложил Гриша. Умилки-ямочки на его розовых только-только познавших бритву щеках исчезли, лицо посерьезнело.— Вокруг приемки поискать надо. Тайник должен быть. На судне, как ни говори, опасно. В любую минуту обыск могут учинить.

Меж стволами, выше по Белужке, показалась приемка. Ловцы сдавали рыбу, и это было очень кстати: Аноха занят, и ребята могут безбоязно побродить по лесу, присмотреться, поискать потайное место.

16

Темнело, когда свояки проезжали мимо Лицевой. Миша-большой, приметив Филиппа на притонке, дернул подбородком снизу вверх и сказал еле слышно:

— А ну...

Свояки понимали друг дружку с полуслова, и Мишка-маленький развернул «казанку» к берегу. Чебуров подошел к ним.

— Думал, мимо проскочите. Хотел поманить, гляжу: сами завернули,— сказал Филипп, пожимая руки своякам. — Разговор есть.

Он присел на холодную бортовину «казанки». Будто сговорившись, все полезли в карманы за куревом.

Моряна попритихла. Мелкие волны-плескуны накатывались на притонок, незлобиво били шлюпку под корму и, затухая, шипели на песчаной отлоге.

— Дело-то ишь как оборачивается,— сказал Филипп.— Петр, новенький наш, не гляди, что пришлый, смикитил... Стало быть, Аноха и есть.

И Филипп рассказал своякам о последних новостях. Миша-большой, оглянувшись на работающих в сторонке рыбаков, сказал доверительно:

— Прошлую ночь схоронились у приемки, однако ничего, тихо...

— Должен зашевелиться. Коль вворовался человек, не вдруг отстанет.

— Факт.— Это Миша-маленький.— Воровство — тоже ремесло.

— Тьфу,— осерчал Миша-большой.— Ремесло, скажешь тоже. На копейку прибытку, на рупь стыда. Ничё! Выследим.— Он неожиданно засобирался:— Пока светло, в поселок сбегаем. Пущай Аноха подумает, что домой уехали. А мы, как солнце под закрой, на шестах спустимся. Ты, Филипп Матвеич, будешь на притонке, посматривай. Всяко случается, может, подсобить придется... Поехали. И штормяк, кажись, утомился.—Он бродом развернул валкую лодчонку на́встречь волне, поболтал ногами в воде, смывая с сапог песчинки, и взобрался на шлюпку.

...В поселке они оставались до темноты. Едва противоположный берег растворился в ночи и над водой сгустел мрак, свояки отчалили от мостков. Руль-мотор, как и всегда, висел на корме, но его не запускали: Миша-маленький сидел за веслами и неслышно греб по воде.

Всю дорогу свояки молчали. Шлюпка сплывала вдоль камышовой стены, где темнота была гуще, чем на середке, да и зыбь у яров в затиши слабела, не шибко тревожила.

Остановились чуть повыше приемки, под яром в тени нависших кустов чернотала. Миша-маленький перешел на корму, намотал на головку маховика пусковой шнур — чтоб все было в полной готовности,— умостился на заднем сиденье и затих. Он мог мол-

чать и всю ночь. Но его старшой долгого безмолвья не выдерживал. В нескончаемо длинные ночные дежурства в засаде любит Миша-большой порассуждать. Свояк молча слушает, и лишь по редким замечаниям можно догадаться, что и он бодрствует.

— Я, свояк, чё думаю,— вполголоса заговорил Миша-большой.— Вот сидим мы тута с тобой, вторую ноченьку глаза пялим, ежели и закурим — с опаской, в рукав. Рыбокрадов, стало быть, ловим. Ну, поймаем, осудят его, упекут...

— А что с ним чикаться!

— Не-е, ты, Миш, не думай... Я согласный. Раз обловщик, то и место ему в отдаленных местах. Не хапь, не алчней. Ты знаешь: от меня браконьер не уйдет. Больше нормы на удочку надергал,— стало быть, закон переступил. Ну и получай. Верно я говорю? Верно. И все же сумление имею, колебание мыслей, ежели по-научному высказаться. И вся решительность надвое раскалывается. За одну рыбину судим, а сколько ее гибнет от всяких там сбросов, виноватых не всегда находим, а то и не ищем...

— Обожди-ка,— вскинулся Миша-маленький. — Слышь-ка?

Замерли свояки, склонили головы набок, рты даже пораскрыли — чтоб слышать лучше.

— На низу вроде-ка?

— Там.

Еле различимое гуденье доносилось снизу, из-за Трехбратинских островов.

— Не участковый? Утром на полуглиссере побежал к взморью. Без водителя. Мастак-мужик.

— Может, и Шашин. В милиции на эту белугу тоже дело завели, вот и рыщет.

— Факт. Только Шашин с ночевкой укатил. Сам утресь говорил.

— Сказать легко. За день мало ли дело как обернется.

— Оно — конечно.

Меж тем полуглиссер поравнялся с тоней и, не сбавляя хода, обошел бударку-фонарку.

— Домой лопотит, к бабе под бок.

— Жинка у Шашина, говорят, городская, на голове парик-пакля крашеная заместо волос, и реснички приставные.

— Потеха,— ухмыляется Миша-маленький.— Такую бабу и обнять боязно, на запчасти развалится. А Шашин-то никак к Анохе заворачивает?

— С проверкой.— В голосе Миши-большого откровенная ирония.— Разгуделся. Пока к приемке рулит, Аноха все, что хочет, обделает. Этого пройдоху и втихую не уследишь.

Полуглиссер захлебнулся и стих. Затем послышался стук о борт рыбницы, приглушенные шаги. Блеснул свет в раскрытой дверце каюты и косо упал на воду.— Шашин зашел в каюту к Анохе.

— Может, на котел рыбка потребовалась?

— Будет он тебе связываться с Анохой! На низу у бударочников, что ли, на котел не достать.

— Не скажи!

— А что?— заинтересовался Миша-большой.

— Нехорошее про Шашина говорили,— нехотя отозвался Миша-маленький.

— Эт-то давнее дело. Ну, было, иногда крохоборничал, побирался,— Миша-большой брезгливо поморщился.— Филипп отучил, говорят...

— Смотри,— перебил его свояк.

Дверь распахнулась опять: из каюты вышли двое и надолго растаяли в темноте.

— Чего-то копаются...— недоумевал Миша-маленький.

— Слышь-ко, а вдруг это не Шашин...

— Тогда берем.

— Отвяжи конец. Сейчас мы его на возврате перестренем.

Полуглиссер испуганно взвыл и пошел на воду.

— Заводи,— крикнул старшой, и в тот же миг Миша-маленький рванул на себя пусковой шнур.

Мотор сыто замурлыкал, и шлюпка тихим ходом пошла наперелом полуглиссеру. Свояки молча всматривались в приближающиеся сигнальные огни. Их охватило беспокойство и нетерпение, которые они испытывают всякий раз, когда приходится брать обловщика. И хотя сейчас они предполагали встретиться с милиционером Шашиным, каждый из охранщиков допускал мысль, что это, быть может, и не он, а кто-то другой, пока что неизвестный для них человек, приятель Анохи. Потому были свояки готовы ко всему. Миша-большой расстегнул кобуру пистолета и сдвинул ее вдоль ремня к животу. То же самое сделал и Миша-маленький.

Тот, что на полуглиссере, заметил их, сбавил ход, и оба суденышка, как бы присматриваясь друг к другу, медленно сближались. Миша-большой включил фару, и желтый сноп света выхватил из темени полуглиссер, а на нем участкового Шашина. И сразу будто камень от сердца отвалился.

— А мы брать настроились,— заулыбался Миша-большой, когда суденышки сблизились.

— Обыденкой обернулся? — спросил Миша-маленький.

— Да что-то зазнобило. Холодная весна. Вот еду, и дрожь в теле.— Шашин был бледен, подбородок мелко-мелко вздрагивал. — А тут с Анохой повздорил. Завернул, посмотреть чтоб, а ему не по ндраву.

— Брюзгач. Медом не корми, лишь бы ему погундосить.

— От его ворчни рыба в момент дохнет. Я свояку говорю, надо бы изобрести аппарат для щекотки. С ним бы и подступаться к Анохе.

— Не заболеть бы,— Шашин засуетился, нажал на стартер.— Ну, бывайте. До райцентра дорога неблизкая.

— Айда и мы,— предложил Миша-большой,— попусту что торчать. Коль Аноху спугнули, проку не будет.

— Факт,— охотно согласился Миша-маленький и направил шлюпку вниз по реке к сторожевому посту.

17

А чуть раньше, на грани дня и ночи, с Петром и Гришей произошла вот какая история. Вначале они долго и безуспешно бродили между низкорослыми ветлами по холодной задерневшей земле, пересекли круглую, в белых крапинках одуванчиков луговину. Петр поначалу согласился идти с Гришей, но вскоре настроился прекратить поиски. Мальчишеская затея — не больше. Хорошо еще, что на тоне никто, кроме них, не знает о ней. Иначе засмеяли бы...

Гриша, однако, стоял на своем: должно быть скрытное место, куда Аноха втай складывает то, что не с руки держать при себе.

Вечерняя сырость окутала лес. Нерешительно, редко и длинно мигая, заголубели на востоке первые звездочки. Совсем пора было уже возвращаться на тоню, но тут Гриша вспомнил:

— Слушай, Петь, вон за тем колком толстенное дерево стояло. В два обхвата. А молния ка-а-ак шибанет...

— Ну и что,— с нетерпением перебил Петр.

— Верх сгорел, а ствол метра на три остался. И огромное дупло образовалось. Пацанами мы сюда приезжали и в войну играли. Я часто там прятался.

— Пошли.— Петр решительно направился к ветловому колку, решив про себя, что больше он не будет слушаться Гришу и прекратит эти дурацкие поиски.

Ветлянник был молодым, поднявшимся на лесной вырубке. То и дело ноги натыкались на полуистлевшие трухлявые пнины.

— Ноги поломаешь,— чертыхался Петр.

— У меня фонарик есть.— Гриша полез в брючный карман, но Петр остановил его:

— Не надо. Приемка рядом: приметят. Далеко еще?

— А вот,—Гриша прошел несколько шагов, раздвинул ветви, и перед ними открылась небольшая ро́счисть, посреди которой лесным чудищем разлапилась обгоревшая колода. Верх ее наискосок срезан, чуть ниже — обломанные и тоже обуглившиеся сучья-кривули. А на высоте мальчишеского роста зияла огромная дыра.

Гриша, а вслед за ним и Петр подбежали к пню. Гриша осветил дупло фонарем и заглянул внутрь, затем сунул в дупло руку и стал шарить внутри. Долгое молчание раздражало Петра, и он подосадовал:

— Ну, чего ты?

— Листьев тут навалено... Погоди...— и вдруг зашептал осипшим голосом,— тут мешок. Глянь-ко.

Петр вначале тоже ничего не мог различить, кроме вороха истлевших, цвета жирной земли листьев, но, когда разворошил их, рука нащупала податливую шероховатую мешковину. Петр нашарил раструб мешка и сунул руку в полость. Пальцы наткнулись

на что-то круглое, запеленатое в холстину, плотное, словно булыжник. Он взял один кругляш и вытащил из мешка.

В холстине была завернута головка паюсной икры — круто посоленной, отжатой в мешковине.

— Там почти полон мешок — под завязку,— пораженный находкой вполголоса сказал Петр.— Вот гад!

— Белуга-то была с кулас... Чего делать-то будем, а?

— Да-а, фокус...— Петр задумался на миг. Вот тебе и ребячья затея. Гриша-то прав оказался. А он чуть было не прекратил поиски...— Сделаем так, Гриша. Положим икру назад — и айда к Филиппу Матвеичу. Расскажем все, а он уж рассудит что к чему.

— Можно к Чебурову, отчего же,— согласился Гриша, но в голосе его Петр уловил скрытое недовольство.— Может, в милицию сразу, а? Вон утром участковый на низ поехал. Завтра он вернется, ему и скажем, а?

— Не будем откладывать,— ответил Петр. — Филипп Матвеич — мужик что надо. — Петр сунул сверток в мешок и заложил его листьями.

На Лицевую они вернулись возбужденные и вместе с тем обрадованные находкой. Филиппа разыскали в его комнатушке. Он уже разобрал постель и был в исподнем белье — просторной рубахе и кальсонах. Он, едва ребята ввалились в дверь, смекнул, что они не зря весь вечер плутали по острову, а сейчас, взбудораженные, с хмельными от волнения глазами, заявились к нему. Филипп молча выслушал Петра и так же, не проронив ни слова, в раздумчивости стал одеваться.

Снаружи, на рундуке, скрипнули половицы, дверь шатнулась и открылась. Вошел Усман.

— Глядел окна — ребят бежит. В казарма не зашел, к Филипп торопится...

— Тут, Усман, такое дело,— Филипп коротко поведал звеньевому о том, что только что узнал сам.

— Уй-бай!—засокрушался Усман. Но его обеспокоило другое:— Тюрма Аноха, верный тюрма! Как Дашка будет жить, уй-бай...

— Довольно сопли размазывать,— оборвал его Филипп.

— Молчим, Филипп, молчим...

Усман затих. А звеньевой тем временем говорил ребятам:

— Прежде всего молчок, замок на губы. Счас приготовим бударку с подвесным мотором и все прочее. Чтоб наизготовке быть.

— Уй-бай... Пойдем, Филипп, пойдем...

— Может, в рыбинспекцию съездить?— предложил Петр.

— На посту никого нет,— ответил Филипп и открылся ребятам:— Свояки возле приемки дежурят. Аноху высматривают. Мешать не будем. Никуда теперь он не денется.

Они вышли на притонок. Несчетной россыпью глазели с неба звезды-самосветы. Ветер спал, и река еле приметно пестрилась мелкой рябью.

— Вы пока посидите на рундучке,— тихо сказал Филипп.— Лодку пойду изготовлю.

Усман с Петром закурили. И Гриша попросил сигарету. Куритель он неважный, но в минуты возбуждения тоже тянулся за куревом.

— Слабак ты, Усман-талисман, — затянувшись дымом, усмехнулся Петр.— Трепаться мастак или там пошутить над кем, а серьезное дело не по тебе.

— Ты такой тяжелый слов не говори,— осерчал Усман.— Мала-мала живи, тогда глядим. Молодой

когда — все смелый. Головам думай мало, ничава в жизнь не понимает.

— По-твоему, и Филипп Матвеич ничего не понимает. Вон как!

— Уй-бай, ты совсем дурной, Петра... Чебурак — умный человек. Мы его вся жизнь знаем.

— Странно получается, Усман. Чебуров хороший, а ты его не поддерживаешь, а за браконьера Аноху страдаешь.

— Чава болтаешь!— от возбуждения Усман привстал с рундука.— Аноха жулик. Я давно говорил... Балашка его жалко, соображаешь? — Усман в сердцах сплюнул на землю и отошел от ребят.

Гриша в разговор не встревал, с усмешкой смотрел на возбужденного Усмана, а когда они остались одни, сказал:

— Зря ты так. Добряк он, хочет, чтоб всем только хорошо...

— Так не бывает,— сердито оборвал его Петр.

— Я понимаю,— согласился Гриша.

На притонке своим чередом шла работа: ловцы вытягивали невод. Из-за ветел доносилась надоедливая воркотня дизеля. Цепочка огней вытянулась понад берегом. Мотыли-светлячки плотным клубком роились вокруг огней. У противоположного берега мимо фонарки пробежало вверх небольшое суденышко. Филипп узнал полуглиссер участкового — по огням да еще по характерному шуму двигателя. Но сделал вид, что не видел его. Шашина после того, что произошло прошлой весной на тоне, Филипп, конечно же, не признает и, понятно, обращаться к такому человеку не будет. Свояки — Миша-большой и Миша-маленький — надежнее. Они свои, поселковые, вся жизнь их с пеленок на виду. Этим можно довериться.

Филипп, налаживая руль-мотор, заметил краешком глаза, что Шашин подрулил к Анохе, побыл там какое-то время, а затем отчалил и навострился домой. И тут его перехватили свояки. Человеку постороннему ничего, кроме мелькавших на черном плесе огней, не увидеть. Вся жизнь Филиппа с детства и до последних дней связана с рекой. Поэтому он не только сигнальные огни да луч прожектора различал в темени, а все понимал, как если бы сам там присутствовал.

Полуглиссер вскорости стал удаляться вверх, а инспекторская шлюпка пошла по воде. Филипп столкнул бударку с отмели, шестом отвел ее от берега, запустил мотор и пошел наперерез своякам.

...Полчаса спустя, а возможно и менее, Миша-большой, Миша-маленький, Петр и Гриша покинули освещенный притонок и направились к ветловому лесу. Вначале шли ватагой, переговариваясь, а достигли редколесья, смолкли, пошли гуськом, след в след. Гриша и ночью не терялся, отыскал вскорости нужную ро́счисть и обгорелую колоду. Миша-большой переломился в пояснице, сунул в дупло руку с фонариком и заглянул внутрь.

Глубоко внизу лежал жиденький ворох прошлогодних листьев... Мешка не было.

18

Последний, роковой для белуги день с раннего утра окрасился со стороны лесистого берега в оранжевые и розовые цвета. И никто не мог, конечно же, знать, что этот красный майский день станет для мудрой рыбины, многое повидавшей на своем длинном веку, черным, смертным днем.

Поначалу все складывалось неплохо. Позабылись

минувшие неурядицы, и жило в белуге лишь одно устремление — к нерестилищу!

Прошла белуга мимо большого города. Она почувствовала его по невнятному гулу, доносившемуся сквозь толщу воды, по многочисленным иногда еле приметным, иногда оглушающим шумам судов, проходивших взад и вперед. Она обгоняла их, но иные обгоняли ее, что тоже было непривычно — в прежние годы такого не случалось.

К исходу белого дня оранжевый круг сместился к вечерней стороне, тени осокорей и ветел легли на реку. Начала сгущаться вода.

Напоследках дня белуга увидела перед собой легкую клетчатую стенку. Она знала: это ловушка. И сразу же ушла вглубь. Но и там движущаяся по воде стена заслонила ей путь.

Крылья-приводы сошлись, потянулись к берегу, расправилась водой мотня-кошель и выползла на отмель.

В кишащем рыбой сетчатом котле щербатая белуга заметно отличалась величиной. Оттого-то ее первой подхватили под кулаки — грудные плавники — и перевалили через бортовину бударки. Белуга больно ударилась скулой о днище, судорожно забилась, хватила махалкой дощатый настил и затихла.

Непривычно громко кричали люди, что-то вонючее оглушительно тарахтело на берегу, невыносимо пекло солнце, вдруг ставшее белым и горячим. Оно нещадно припекало, сушило тело. Так длилось до вечера. На приемке двое мужиков подхватили ее под жабры, втащили на что-то железное и холодное, а оттуда кинули в прорезь-садок. Из узких щелей в днище струилась верховая подсвежка. Белуга задвигала жабрами, прогоняя сквозь их красные махровые сита студеную воду. Тело вновь оживало.

...Над рекой нависла ночь. Вызвездило. Близко к полуночи из кубрика поднялся на палубу рыбницы Аноха. Оглянулся окрест, прислушался.

Река спала.

Ниже по воде светился притонок и неустанно работал тоневой двигатель. И ни души вокруг...

Аноха улыбнулся довольный: ночь-матка — все гладко. Он нашарил в кормушке топор, стащил с навеса багор и склонился над прорезью.

...Что-то завозилось под белугой и остро кольнуло в брюшину. И тут же ее потянуло наверх. Она не успела даже сработать махалкой и плавниками, чтоб отвернуться. Едва ее тупое рыло поднялось над водой, что-то тяжелое обрушилось на нее, оглушило.

Она пришла в себя уже на дне реки. Резкая боль разрывала брюшину. Ни плавники, ни махалка не слушались ее. С этой минуты и до последней, когда те же самые рыбаки с Лицевой во второй раз выволокли ее неводом на тот же притонок, жизнь медленно и безвозвратно угасала в ее теле.

В муках она провела страшную ночь. Течение, словно бревно, перекатывало ее по суглинистому дну, к полудню вынесло на тоневой плес. И когда ловцы Усманова звена вытянули ее на притонок и пораженные невиданным зрелищем стояли вокруг, жизнь догорела в ней.

19

...Аноха, оглушив белугу, отбросил топор и с превеликим трудом выволок ее на дощатый настил прорези. Не спеша извлек из кармана брюк большой складной нож с деревянной ручкой, попробовал остроту лезвия, привычно вонзил его в тело.

И в то самое время, когда выгребал икру, ястык за ястыком бросал в эмалированные ведра, с верх-

него конца плеса из-за речного колена, со стороны рыбозаводского поселка, донеслось гудение мотора. Аноха матерно выругался и заспешил: спустил в кубрик одно ведро, второе, третье. И едва управился с последним, полуглиссер поравнялся с приемкой, развернулся, чтоб причалить к ней. Аноха, не на шутку оробев, спихнул белугу за борт и водой окатил настил — смыл следы.

Аноха всмотрелся в человека и чертыхнулся: участковый приехал. Шашин выбрался из полуглиссера, потянулся до хруста в суставах.

— Здоров, хозяин? Что не спишь?

— Бессонница.

— Ну-ну. Веди в кубрик. Плохо гостя встречаешь.

— Айда,— Аноха первым шагнул в дверь и спустился по крутой лесенке. Он на ходу стянул с себя парусиновый пиджак и небрежно накинул его на ведра с икрой.

— Подогреть, али как? — спросил Аноха.

— Уху в другой раз.

Аноха достал из навесного шкафчика эмалированное блюдо с икрой, тарелку с отварной осетриной, хлеб. Пока он раскладывал угощение и пластал хлеб, Шашин осмотрелся, отвернул полу пиджака и увидел ведра, полные икрой.

— О, богато! Бегемотище, видно, был, а?

— Был,— Аноха сожалел, что опрометчиво, без надобности столкнул белугу. Посолить бы ежели — на всю зимушку харч. Ну, да шут с ней! Оглядчивого бог бережет. А белуга еще будет, мало ли их...

— А где она?

— Где плавала, туда и... Ты спугнул.

— Ну и хрен с ней,— успокоил Шашин. Он достал из кармана поллитровку водки...

Закусив икоркой, Шашин сказал:

— В прошлый раз горчило что-то.

— Какая уж вышла, чё теперь,— оправдывался Аноха.

— Ты того...— Шашин кивнул на ведра под пиджаком,— чтоб засол что надо.

— Авось получится.

— На авось не полагайся, кто авосьничает, тот и постничает.

Было это в ночь гибели белуги. А спустя неделю Шашин еще раз заглянул к Анохе — за обещанным. Его-то и повстречали ночью свояки.

20

Свояки-инспектора и ребята из Усманова звена, раздосадованные неудачей и злые на весь белый свет, ни с чем вернулись на Лицевую. Но пока топали пешим ходом от леса до притонка, и Миша-большой и Миша-маленький каждый сам по себе дошли до одной догадки. Догадка эта была для них сколь неожиданна, столь и необычна. Но она пришла к обоим, а потому и не могла быть напраслиной. И поэтому, когда Миша-большой шепнул несколько слов напарнику, тот вздрогнул, будто ужаленный.

— Я тоже думаю: что ему по ночам-то шастать. Сам говорил — с ночевкой, а обыденкой вертался.

И они тут же, не медля ни минуты, подались в инспекцию. Контора была на замке. Тогда Миша-большой кинулся к райинспектору, растолкал его и, пока тот одевался, путанно и длинно рассказал о событиях нынешней ночи. Райинспектор ничуть, кажется, не удивился, что Шашин заодно с Анохой, и тут же из дому позвонил начальнику районного отделения милиции, обстоятельно поведал о случившемся. Рай-

онный начальник немало удивился и долго не принимал всерьез услышанное. Оно и понятно: кому охота иметь у себя жулика и нарушителя? Сколько он работал в милиции — такого еще не бывало.

— Ну, брат, ты мне и ночью покоя не даешь. Ладно, встречу этого Шашина, ух и встречу. Если твоя правда, упеку его, подлеца. Упеку-у.

Миша-большой возвратился к свояку. Они закурили и устало опустились на рундучок.

— Слышал, вода пошла.

— Болтают,— зло отозвался Миша-маленький.

— Не, серьезно. Райинспектору радиограмма пришла.

— Ну и ладно. Вобла-то, считай, погибла. Хочь сазан да лещ отнерестятся без помех...

Наискосок к Белужке, прочертив небосклон, скатилась звездочка.

— Шашинская звезда закатилась,— сказал Миша-маленький.

— Много чести, если на каждого подлеца по звезде,—недовольно проворчал Миша-большой. Затянулся дважды кряду и, будто вспомнив о чем-то светлом, сказал: — Петр-то... прибылой, а ничего. Настырный.

— Галантерейный парень,— одобрительно отозвался Миша-маленький. Говорит, на заводе останусь.

— Дело молодое. Девку найдет, женится. Чё ему теряться. Этта нам деваться некуда, одну сорокалетнюю не променяешь на две по двадцать. Не дадут.

— Дураков нет, факт.

Одиночество





1

До сельца оставалась половина пути, когда Афанасий оглянулся и приметил давешнюю собачонку: щенок не щенок, и пока не собака. Телом-то вроде бы рослый, а на морду глуп. Тупорылый, брыластый — верхняя губа бобриковой складкой нависает над нижней челюстью. Лапы волчьи, передние ноги в мужичью руку толщиной, ухватными рогульками обхватывают широкую, не по возрасту мускулистую грудь.

Часом раньше на околице райцентра он облаял подводу. Афанасий равнодушно обернулся на лай большеухого шоколадной масти молодого кобелька, но тут же забыл о нем. Поиграл вожжами, поторопил мерина.

На половине дороги меж районным городком и сельцом, после Васюхинского мостка, было у старика заветное местечко, где он отдыхал душевно, приходил в себя после дневных забот и напряженной колготы по приему товара на складах рыбкоопа.

...Едва деревянный брусчатый настил на перекидном мостике прогромыхал под ошинкованными колесами, старый лохматый меринок, без всякого на то понуждения со стороны хозяина, привычно взял левее на гужевую дорогу с реденькой просадью ветлы по обочинам. Малоезжая дорога местами уже зарастала, но след повозки никогда не сходил с нее, потому как Афанасий всякий раз наведывался сюда и ехал бережником версты три.

Меринок остановился у одинокой ветлы на пойменном берегу. Вокруг на золотистой стерне грибами горбились потравленные стожки. Ниже по воде реденький бережной тальник — серо-зеленый, с оранжевыми мазками близкой осени.

На этом раздоле возле уединенной ветлы Афанасий приспустил чересседельник, ослабил супонь и кинул меринку сенца. Конь благодарно пошевелил толстыми бархатными губами, коротко и ласково заржав, тем самым по-своему выразил признательность хозяину за предстоящий отдых и угощение — духовитое, нынешнего укоса сено.

Чуть в сторонке остановился и кобелек.

— Ты чё увязался? Сперва вылаял, а потом увязался. Не хочешь городским быть? В деревню потянуло? Ну-ну, эт-то сёдни модно... Кто тикал, все вертаются.— Афанасий, выпятив губы, поцокал языком, но брыластый не подходил ближе. Он присел на хвост и склонил голову набок, вроде бы отслоил от мохнатой головы одно ухо, чтоб получше слышать человека. В глазах засветилось любопытство.

— Глупо́й,— проворчал Афанасий.— Не желаешь подойтить? Эка, ва́женка!

До Васюхинского моста Афанасий опасался отдыхать. Что там ни говори, а город под боком. Хоть и невелик, а все же город. В нем разные люди. Поди

разберись, кто хорош, кто так себе, а кто — жулик. Их-то, жуликов, и боялся Афанасий.

Плохо-бедно, а товару на телеге тысчонок на пять-шесть, никак не меньше. Сельцо их невеликое, и лавчонка неказистая, да не стенами лавка красна — товаром. Каждый раз продавщица дает заявку Афанасию не приведи бог какую. Всякого товару заказывают сельчане: то им привези, другое, третье. Костюмы — обязательно заграничные, телевизоры — с экраном самым большим. А на днях, смех один, заказали аппарат, которым кино снимать, с тремя глазками. Будто одного мало. Пра-а... кино, да и только! Нет, коли не умеешь снимать, хошь десять глазков — не помогут. Беда с потребителем.

Вот и скачет Афанасий по складам полдня, а то и больше. А они, склады-то, все по разным концам городка разбросаны. В одном ткани получишь, в другом — культтовары, в третьем — продукты, в четвертом... Всякого много товара — и нашего, и из-за моря!

Навьючит Афанасий возок, брезентом укроет, увяжет арканом и спешит до заката поспеть в сельцо, или уж — в крайнем случае — мостик перевалить. Отдохнуть до моста Афанасий не решается, бывает всегда настороже, потому как знает: что глазом не усмотришь, то мошною доплатишь. А где она, мошна-то, если на правую копейку живешь? Приходится держать ухо востро. А береженого, как известно, бог бережет.

Иное дело — на своих землях. Тут и послабление бдительности допустить можно.

Афанасий бросил на землю войлочную полость, из кошелки выгреб яйца, луковицу, ломоть хлеба, до красноты и хруста поджаренных окуней. Все съестное аккуратно разложил на помятой газетке. Делал

он это не спеша, будто исполнял чрезвычайно важную и нужную работу. Когда приготовления были закончены, Афанасий подошел к возку, отвернул край брезента и, запустив под него крупную угловатую ладонь, извлек четвертинку водки.

Он дозволял себе эту вольность. Тем более, что продавщица списывала четвертинку на естественный бой. Не выбрасывать же ее!

Много Афанасий не пил: мера у него была твердая, да и повторялось такое раз в неделю, а то и в две — только в тех случаях, когда продавщица давала заявку на водку. В селе, где он работал возчиком при магазине, и на хуторке своем, на пустошной усадебке, в версте от сельца, был воздержан, если не брать во внимание больших праздников и важных гостей, изредка наезжавших к Афанасию,— которые порыбачить, которые пострелять дичь.

Прежде чем приняться за еду, Афанасий отобрал двух жареных окуней покрупней и бросил собаке.

— Держи, ушан, пожуем, да и домой.

Кобелек в последние дни часто бывал в несытности, а потому при виде еды встрепенулся, склонил шишкастую голову набок и облизнулся. С места, однако, не тронулся.

— Гонор не позволяет? Ну-ну,— добродушно пробормотал Афанасий. Собачья неподатливость пришлась ему по душе: знать, по-своему гордость блюдет, не к каждому прислонится; есть, стало быть, умишко у твари...

И уже иными глазами посмотрел старик на собаку, подумал, что не худо бы заманить ее до хутора, приласкать. Добрая собака — почти человек, особенно если живешь одиноко, на заимке.

Когда четвертинка опорожнилась и припасы были съедены, Афанасий аккуратно свернул газетку и

спрятал в кошелку, а пустую бутылку сунул на прежнее место — под брезент, в ящичную клетку.

Меринок всхрапнул понимающе и замотал головой. А когда Афанасий подтягивал чересседельник, обернулся, скосил на старика выцветший водянистый глаз и потерся мурлом о конец оглобли.

И вот тут-то пес заметался между удаляющейся подводой и соблазнительно пахнущими окунями. Афанасий с улыбкой на щетинистом лице наблюдал за ним. Кобелек затрусил было следом, но искушение было велико, и он опустился на мохнатый хвост, нервно вздрагивая всем телом и повизгивая.

Так в расстроенности тянулся он за возком с полверсты; трусúл неспешно, оборачивался, скулил... Но выдержать характер до конца не хватило собачьей воли, и кобелек наметом вернулся к одинокой ветле.

Вскоре он настиг подводу. Свесив мокрый малиновый язык, дышал часто и тяжело, но побежка теперь была ровной: он чуть отставал от заднего колеса телеги, трусúл размеренно и спокойно, словно всю свою жизнь только и делал, что сопровождал Афанасия в его поездках.

Поведение кобелька нравилось Афанасию. Это доверие к нему, а может быть и выпитая четвертинка, настроили старика на благодушный лад. И он разговорился.

— Стало быть, меняешь местожительство? Ну-ну... айда ко мне. Будем втроем. Ты, я, да вот еще Сивый. И будем три мужика... Хотя какой мужик из Сивого? Так, видимость одна. А бабы у меня нет... Ну их, бабов-то, в фарью рогожку...— Афанасий удивляется сочувственно-жалобному взгляду кобелька: — Чё, понял, стало быть? И жалеешь старика, а? У-у-у! Морда твоя собачья! Думаешь, с пьяных глаз разболтался? Ты, выходит, трезвый, а я — того...

Хваченый? Ничё! Совсем ерунду употребил, малость одну... А, это ты, ушан, верно удумал — в сельцо податься. Айда. Я да Сивый — старики. Помрем скоро, хоть живая душа на заимке останется.

Старик поцокал языком, в такт похлопывая ладонью о колено. Но кобелек все так же, не отставая и не убыстряя бега, трусил у тележного задка.

— У-у! Фармазон губастый... — ласково ворчал Афанасий.— Тя как кличут-то? Не знаешь? Трезвый ты, вот кто! Я... того, а ты Трезвый.

Так они и въехали в улицу: старик на подводе, чуть позади — шоколадной масти ушастый кобелек. Никто на него не обратил внимания, даже Афанасий забыл на время: распустил товаристый возок, сдернул брезент и до самого темна носил в магазин ящики, тюки, увесистые коробки из серого картона в мелких складках, связки резиновых ловецких сапог, стеганых брюк и меховых безрукавок.

Вызвездилось небо. Позвякивали ведра на коромыслах — женщины по пути на реку останавливались у возка, любопытничали насчет товара.

Лениво перебрехивались деревенские собаки. Приблудный кобелек недвижной тенью чернел под телегой, вздрагивая всякий раз, как только незлобивый собачий лай достигал его слуха.

2

О Шуре, первой своей жене, Афанасий вспоминал редко и неохотно. Кто тут прав, кто виноват — поначалу он не мог разобраться. Больше винил ее, тем более, что провинность ее была налицо. И лишь с годами пришло к нему чувство собственной вины перед Шурой. Конечно же, он причина всех бед, он. Но поправить дело было уже невозможно.

Шура же и за пятьдесят лет, в том возрасте, когда женщине самой природой положено блекнуть и увядать, наперекор и летам своим, и жизненным невзгодам, и одинокой жизни по-прежнему была бодра и неплохо сохранилась внешне.

Жила Шура одиноко в прежней Афанасьевой избе. Володька — их сын, с десяти лет рос при матери — при живом отце без отца воспитывался. Народился он поздно, когда и Афанасий и Шура уже теряли всякую надежду иметь детей. В восемнадцать лет его призвали на службу, и он погиб там на ученьях. Шура спешно собралась в дорогу, а три дня спустя привезла останки сына в цинковом гробу и похоронила на сельском кладбище. Как перенесла Шура смерть единственного сына — ей да богу одному ведомо. Но даже эта утрата ничего не изменила в отношениях ее с Афанасием. Они, когда встречались на улице, молча кланялись и расходились.

И каждая такая встреча немым укором ранила Афанасия в самое сердце, причиняла боль.

Ах ты, Шура-Шура!

Когда у Афанасия получился разлад с женой, уезжали с ближнего хуторка старики в город к сыну. У них и купил Афанасий отводную усадебку: справную под шифером избушку в два окна, с огородной землицей и скотным двором.

Купил и ушел в чем ходил, все оставил Шуре и Володьке.

Очнувшись после трехдневной пьянки по случаю покупки хуторка, он обнаружил в своем новом доме женщину. Она наклонилась над шестком и тлеющим голиком сметала в загнетку печной жар. Афанасий, затаясь, вприщур смотрел на ее широкую спину, тугой, с добрый арбузенок, кокуль волос на затылке и золотистые завитушки на белой гладкой шее.

«Мать честная, — думал про себя Афанасий, — эт-та что же такое, откуда все это?» Он попытался вспомнить события прошлых дней, но затуманенная память решительно отказывалась что-либо подсказать ему.

Впрочем, кое-что восстановилось в памяти. В сельсовете он оформил купчую, там же при свидетелях вручил старику половину обговоренной стоимости, а другую половину обязался отдать в течение года.

Затем в сельмаг зашел. Потом... провал, пустота.

Тем временем женщина отошла от печи, и Афанасий узнал ее, а узнав, ужаснулся: Натуська, первая потаскуха в селе! О бог ты мой неправедный, да что же это делается на вольном свете!

И в тот же миг пустота в памяти заполнилась: в магазине он взял литр водки, чтоб обмыть куплю. Но день был работный, Афанасий покрутился-повертелся возле магазина и, как на грех, никого из мужиков не встретил. А тут Натуська-продавщица закрыла магазин на обед, и мимо него семенит, задницей, словно жерновами, вертит, гляделки раскосые бесстыже уставила на Афанасия. Он в те годы был мужик хоть куда, в самом соку — едва за сорок перевалило.

— Ты чё, как кошка на сметану? — с издевкой спросил он, а сам подумал: «Ну и глаза. Один на нас, другой на Арзамас».

— Как же, приготовилась,— окрысилась Натуська и кивнула на бутылки:—Аль дружков потерял? Рановато вроде бы водку-то хлебать.

— Да вот... магарыч,— оправдательным голосом ответил Афанасий,— обмыть покупку надо бы, да не с кем.— И вдруг неожиданно для себя предложил: — А не то — приходи вечерком, спрыснем... Природа на заимке что надо, ну и, само собой, все остальное...—

Афанасий озорно крякнул и осмотрел молодуху с ног до головы.

Что было дальше — хоть убей — Афанасий не помнил.

Натуся меж тем учуяла, что он протрезвился, и, оставив дела, подсела на краешек кровати, у изножья.

— Очухался? — участливо спросила она. Уловила недоумение во взгляде, поинтересовалась: — Ты чего это? Будто впервой видишь...

— Ты чего здесь делаешь? — спросил Афанасий.

— Как чего? Сам же звал.

— На магарыч звал.

— Так это спервоначалу, обмыть-то. А наутро насовсем велел остаться.

Осипшим голосом она отвечала на его обидные вопросы, а он запоздало припоминал: да-да, он не отпускал ее и в тот вечер, и на другой день, вчера, стало быть. Но чтоб насовсем — такого не помнил. А впрочем, кто знает: пьяный — не в своем уме. Потому-то протрезвевший, сегодняшний Афанасий не мог требовать отчета у Афанасия вчерашнего. Он мог только осуждать и не соглашаться с ним, гневаться на него.

Так Натуська и осталась. Не выпроваживать же бабу, коль спьяна сам заманил ее.

На вид была она завлекательной: брови в палец и полнота ей шла. Лицом красива. Глаза только заметно косят. Но Афанасию не двадцать лет, с лица, как говорится, воду не пить.

Жили они с Натуськой странно как-то, не совсем по-людски — каждый в своем доме, при своем хозяйстве. Она изредка наведывалась на хутор, чаще он оставался у нее на ночку-другую, иногда и недельку подряд жил в селе, но потом удалялся к себе на

заимку. В приходящие-уходящие мужья, так сказать, попал.

Непонятная она была, Натуська. Если Афанасий задерживался у нее подолгу, напоминала:

— На хутор наведался бы... Растащат без присмотра-то.

Понимал Афанасий, что Натуське плевать на его хутор-избу со всеми ухожами. Он удалялся, затаив обиду. И если несколько дней не являлся, Натуська сама прибегала на заимку, говорила укорные слова, уводила в село.

И еще одна странность была у нее: привязанность к корове. Это никак не вязалось с ее нарядами, с ее модничаньем, с ее работой, наконец. Но о ее пристрастии на селе знали, удивлялись и втихую даже посмеивались. Поговорка: пусти женщину в рай, она и корову за собой — не иначе как про Натуську сложена.

Черно-белая костромской породы Зорька была всегда ухоженной и накормленной. Вечерами Натуська, закрыв магазин, спешила за коровой на околицу, ласково окликала, гнала ее во двор, а на зорьке провожала далеко за село.

Вечерняя и утренняя дойки были для Натуськи чем-то вроде праздника. Не спеша усаживалась она на коротконогой деревянной скамеечке, старательно мыла вымя теплой водой и вытирала чистым вафельным полотенцем. Выжатые из крупных отвислых сосцов струи звонко тренькали о дно эмалированной доёнки. Парное молоко пенилось в подойнике, бугрилось пузырчатой шапкой.

Кончив доить, она черпала кружкой и подавала голубоватое молоко Афанасию, а сама опять же насухо обтирала вымя и смазывала сосцы Зорькиным же топленым маслом.

В то время Афанасий в колхозе молочнотоварной фермой заведовал. Послевоенные трудности давали о себе знать: хозяйство не в гору шло, а совсем разваливалось. С фермы доярки без огляду бежали, коровы вконец выродились — улучшением стада с довоенных лет никто не занимался — козы и те, поди-ко, щедрей на молоко были. На дойню придешь — одно расстройство души: будто телушки годовалые, шерсть сосульками скатывалась, бока впали...

При первой же возможности уходили доярки с фермы: иная замуж выскакивала и уезжала из села, иная с мужем рыбу ловить уходила, иная ввиду болезни на легкую работу устраивалась. А тут вдобавок ко всему неприятность на ферме случилась. Недосмотрели пастухи, бык племенной в ильмене илистом утоп. Половина стада непокрытой осталась. Афанасия, конечно, сняли с заведования и в пастухи определили. И смех и грех.

Натуська уговорила Афанасия оставить ферму и пастушье занятие и устроила его возчиком в рыбкоопе.

С тех пор на заимке появилась живность — меринок Сивый. Афанасий отвел ему самый теплый, густо обмазанный глиной и коровяком камышовый баз, смотрел за ним с не меньшей заботой, чем Натуська за своей Зорькой.

Натуська поначалу радовалась, что он и в работе рядом с ней, со временем, однако, поняла свою промашку. Пока у Афанасия не было на хуторе живности, он мог бывать у Натуськи в любое время, а теперь коняга прибавил заботы, ухода, и мужик бывал у Натуськи урывками, спешил к себе.

Но эта ошибка была сущий пустяк по сравнению с той, которую вскоре Натуська допустила по бабьему недомыслию. Неизвестно сколько и как происте-

кала бы в дальнейшем их то ли семейная жизнь, то ли сожительство полюбовников, если бы не сама Натуська.

Она, оказывается, знала, что произошло между Афанасием и его первой женой Шурой, и в минуту женского откровения сказала:

— А Шура молодец! На ее месте я бы точно так же. Разве этак можно с женой?

Афанасия в жар бросило от ее слов: столько лет минуло, казалось бы, их тайна давно похоронена. Ведь, кроме Афанасия, Шуры да кума Панкрата, никто не знал ту историю. Знают, оказывается. «Панкрат разболтал, не иначе»,— думал Афанасий.

К Натуське он с той поры не приходил. Навсегда отвратила от себя мужика нечаянно сказанными словами. Эту истину Натуська поняла позже. Поначалу же старалась заманить его к себе, не раз на хутор впотьмах наведывалась, уговаривала помириться. Не впустую же говорят: муж с женой бранятся, да в одну кровать ложатся.

Но Афанасий был характера крутого, неумолимого. И Натуська поняла вскорости, что старания ее и женские хитрости тут не помогут.

И прежде, по трезвому размышлению, Афанасий не раз укорял себя за Шуру, теперь же, когда понял, что шило вылезло из мешка, что в селе знают о той пакостной истории, какую он учинил с женой, и совсем не по себе стало мужику.

В тот год и случилось несчастье с Володькой. Афанасий чуть ли не целый день простоял у изголовья цинкового гроба, перебирая в памяти все, что сохранилось в ней о Володьке со дня появления его на свет и до нынешнего смертного часа. Никто Афанасия не тревожил, Шура будто не замечала. Возможно, так оно и было — до него ли, когда вся ее

радость и смысл жизни оборвались со смертью сына.

Спустя неделю Афанасий пришел к Шуре.

— Ты, Лександра, того... На-ко вот, возьми...— он положил на край кухонного стола маленькую стопочку новеньких пятерок (только что с книжки снял).— Не посторонний я для Володьки-то...

Хотелось Афанасию немного побыть возле Шуры, но он опасался, что она начнет возражать и вернет деньги, а потому и не стал медлить, торопливо, путаясь ногами в половиках, вышел. По дороге к себе на хутор он порадовался, что удачливо справился с нелегким делом, коль сумел убедить Шуру.

Радость, однако, оказалась преждевременной: в тот же день Шура вернула деньги со знакомым пареньком.

И тогда он решил, что закажет в области Володьке памятник. Тут уж никто ему не сможет запретить. Привезет и поставит памятник из дикого камня вместо железного креста с замысловатыми сплетениями несуразных цветов и ветвей. Денег у Афанасия на книжке не шибко много, всего шесть сотен. Но ничего, хватит, чтоб ухóдить могилку.

От такого решения и, главное, от того, что Шура не сможет запретить ему исполнить последний родительский долг, Афанасий взбодрился и порадовался за самого себя.

...С той поры минуло десять с небольшим лет. И надпись на диком камне давным-давно потускнела, а металлическая изгородь не раз перекрашивалась.

Афанасий, как и прежде, извозничает, живет бобылем. И всего-то, кроме него, на заимке единственная душа — меринок Сивый — постаревший, с ревматическими узлами на негнущихся ногах. Да вот еще увязался кобелек лопоухий...

3

Гость приехал на зорьке, когда Афанасий хороводился с Трезвым. Умостившись на рундуке, старик подозвал к себе кобелька, тот доверчиво ткнулся рыластой головой в колени и затих. Тогда Афанасий накрутил на палец тощий клок шерсти на шее и, изловчившись, коротко рванул от себя. Трезвый скульнул, дернулся, но позы не переменил.

— Во, теперь не сбежишь,— довольно проворчал старик,— ты, конешна, тварь и многова не смыслишь. А примета, между протчим, очень даже верная. Теперь ты совсем хуторской мужичок.

Мимо заимки гуртом прошли на ферму женщины-доярки. Поравнявшись с избой, они привычно и вразнобой поздоровались с Афанасием. Он тоже, как и всегда, низко склонив голову, ответил:

— Здравствуйте, бабоньки.

Только Шура кивнула еле приметно и после своих товарок.

Ниже хутора переправа — лодка без паромщика. Доярки каждый раз на той бударке переправляются за реку, на ферму, и обратно.

День был субботний. Предстоял двухдневный отдых. Еще с вечера старик хребтиной спутал Сивому передние ноги и отпустил на все четыре стороны. Сивый далеко от хутора не забредал, пасся обычно на сырой луговине за ветловым редколесьем.

Афанасий поглаживал шершавой ладонью собачью спину, а сам косился на низкодол, где, старчески уронив к травам голову, дремал меринок, когда-то неутомимый в упряжке и драчливый в косяке. Был конь, что и говорить, да изъездился. Уходили Сивку крутые горки. Но и до сегодня тужится, а везет. Долго, однако, не продержится, нет...

Мысли Афанасия прервал автомобильный гудок: к хуторку, пыля и выплевывая дым, катил голубенький «Запорожец».

Старик ладонью заслонил глаза от солнца и всмотрелся. Тихая улыбка завладела его небритым, до самых глаз в пепельной щетине лицом: близкий гость, свой, запечный.

— Иди, Трезвый, не до тебя нонче. Федор Абрамыч вон лопотит. И, слава богу, кажись, один, без бабья.

Не любил Афанасий оравистую семейку, которую иногда прихватывал с собой Федор Абрамыч. И не места жалко — мало ли его на заимке. Галдят, колготятся, ахают — бабы они и есть бабы. Будто не на хутор попали, а, по малой мере, на Луну. После них неделю, если не больше, птица за версту заимку облетает, а щука в кундраках хоронится.

Федор Абрамыч — мужик степенный, слова пустого не роняет, все путем. Мужик он житный, не какой-нибудь там интеллигентик-коммунальник — своим хозяйством живет. Сад содержит. Машину заимел. Куцая машинешка, каракатица обличьем, а все же свои четыре колеса. В любой момент сел и рули, куда душа пожелает.

Афанасий тяжело, с хрустом в суставах, сполз с рундука и заковылял к яру. Здесь, под беспокойным светлолистым тополем, Федор Абрамыч завсегда ставил машину: и солнце не печет, и на виду всей заимки.

А вскоре они сплывали по воде на утлой, тупоносой плоскодонке, чем-то напоминающей своей неуклюжестью автомашину на яру под тополем. Афанасий терпеть не мог вонючих бензиновых моторчиков, да и надобности в них не ощущал. Река спокойная, без ямин и перекатистых суводей. Не спеша,

толкаясь таловым шестом, куда хочешь доберешься.

Старик с кормы легонько упирается шестом о хрусткое, в ракушках дно, управляет лодкой, а Федор Абрамыч налаживает спиннинг. Перед ним на мостках жестяная коробка из-под леденцов, а в ней каких только ловецких причиндалов нет: и крючки, и грузила, и колечки, и карабинчики, и якорьки... А блесны — одна другой наряднее: и в виде рыбок, и на манер червей, и лягушата игрушечные, и рыбки золотые. Даже серая мышь есть. Когда Федор Абрамыч тянет жилку из воды, она, эта самая мышь искусственная, плывет по воде, будто всамделишная. Не то что сому неразумному, а и человеку обман непросто обнаружить.

Смотрел Афанасий на всю эту хитро изобретенную чепуху со снисходительной усмешкой: зачем человек тратит и время свое и способности на бирюльки, если проще крючок припаять к куску жести от консервной банки. Или денежку медную расплющить. С дедов так ведется. И дешево и сердито!

Будь кто другой, Афанасий высказал бы мысли вслух, но Федору Абрамычу не мог, потому как чувствовал себя обязанным перед ним. Это чувство обязанности и глубокой признательности зародилось в давние времена, когда русоволосый старшина Федя Лузгин со своими бойцами спас Афанасия от верной смерти.

Случилось это на одном из лесных смоленских хуторов, где раненого Афанасия схватили полицаи и после недолгого допроса и мордобоя вывели из хаты, чтоб тут же за изгородью прикончить.

После войны Афанасий с превеликим трудом разыскал старшину Лузгина и пригласил погостевать. Федор Абрамыч оказался человеком отзывчивым и... неженатым. Погостил с недельку у Афана-

сия, а перед самым отъездом домой познакомился в районном городке с фельдшерицей и пообещал вскорости оставить свои пермские леса.

Приехал, женился. Двух дочек вырастил и замуж отдал.

Вон откуда дружба двух мужиков!

Надо же было так случиться, что почти в одно и то же время с Афанасием пришел работать в торговлю и Федор Абрамыч. Поначалу ведал кадрами и три или четыре года спустя стал председателем рыбкоопа.

В первые наезды Федор Абрамыч смешил Афанасия: ни шестом, ни веслом двинуть не мог. То, бывало, за борт кулем вывалится, то сети спутает, да так, что после него полдня Афанасий «кашу» распутывал.

С тех времен минуло четверть века — половина сознательной жизни, коли серьезно подумать. И ни разу дружба их ничем не омрачалась. Федор Абрамыч всякий раз при встречах улыбчив, светел лицом. Потому-то Афанасий нынче и насторожился. Все вроде бы как и прежде: внимателен к нему его старый друг, слова хорошие говорит, но в глазах тревога и в голосе нет той певучей мягкости, которую Афанасий всегда улавливал и к которой привык за долгие годы.

Предчувствие не обмануло старика. Наладив спиннинг, Федор Абрамыч закурил сигарету и спросил:

— Здоровье не пошаливает?

— Когда как,— неопределенно ответил Афанасий, не зная, для чего задан вопрос, но твердо уверенный, что спрашивают его не ради праздного любопытства.

— Иди-ка ты на пенсию, Афанась, пока силушка

есть. И здоровьице сбережешь. Места тут курортные: воздух, река, лес...

Вон оно что! Старик потерянно глядел на густотравную луговину за рекой и никак не мог постичь: почему надо уходить на пенсию и чем, скажите на милость, он будет заполнять дни, если отпадет надобность ездить за товаром, ухаживать за меринком.

Федор Абрамыч тотчас уловил, почему молчит старик, какие мысли обуревают его закадычного старого дружка.

— Я тебе, Афанась, все как на духу выложу. Лет пять уже меня жучат в потребсоюзе и за меринка дохлого и за телегу — луноход допотопный. Машины в рыбкоопе есть, во все магазины на них товар развозим. Даже пекарни в селах закрыли. Хлебозавод в райцентре поставили. На машинах долго ли? А тут — отдельная ставка возчику, тебе, стало быть, лошадь на балансе, ну и все прочее. Упрекают меня, мол, дружка не трогаешь. Ну я вгорячах и сказал, мол, не трону. До пенсии тебе, Афанась, отсрочку выхлопотал. Вот и...

Тут Афанасий вспомнил, что намедни разменял седьмой десяток, да в суете житейской запамятовал. Шура, та, бывало, завсегда помнила (и сейчас, поди-ко, помнит) день его рождения и прочие значимые числа, а он, Афанасий, никакой важности им не придавал, да и память с годами стала дырява. А там, в потребсоюзе, выходит, помнят. Только наоборот внимание выказывают: ликвидируют его. Был человек, и нет — иди в пенсюки...

Злость взяла Афанасия на потребсоюзовское начальство. Федор-то Абрамыч тут, понятно, ни при чем. Неправды он не скажет, не огуда́ла там какой, порядочный человек. Сколь мог — держал, а уж коль выложил все начистоту, знать, невтерпеж даль-

ше, доняли мужика до последней крайности. Оттого и негоже ему, Афанасию, дальше чинить другу неприятности, негоже.

— Сивка́ куда же в таком разе? — спросил Афанасий, и гость понял, что старик безошибочно воспринял его слова, без порицания.— На колбасу, стало быть?

— Так уж на колбасу...— запротестовал Федор Абрамыч.

— А пущай-ка он при мне остается, а? — в голосе Афанасия надежда и радость.— Кака с него колбаса. Зубнику лишние хлопоты. Оставь Сивка́, Федор Абрамыч...

— Так он же на балансе.

— Выходит, его нельзя списать, а человека можно? Даже на балансе не числюсь.— С досады старик шумно выдохнул, в щелку свел веки и задумался о чем-то.

— Ты, Афанась, скажешь тоже. Пенсия — освобождение от непосильного труда. Возраст, он, что ни говори...

— Мне-то лучше знать, что посильно, а что нет...— перебил Афанасий гостя.— Да чё там, хрен с ней, пензия так пензия. Меринка жаль отдавать. Как же я без него? — засокрушался старик. Помолчал малость и, просительно заглядывая в глаза Федору Абрамычу, заговорил быстро-быстро:— Ты вот что... Подумай-ка... Оставь Сивка́, спиши с балансу. Кому он, болезный. нужо́н? Глянь-ко, вон он, на лужке понурился...

— Ладно, Афанась.— Гость извелся не меньше старика. Разговор этот тяготил обоих, и, чтоб покончить с ним, Федор Абрамыч обнадежил:— Поговорю с бухгалтером. Может, что и придумаем. А пенсиона не пугайся. Поначалу странно, разумеет-

ся. Потом все в колею войдет, спасибо скажешь.— И, уже окончательно успокоившись, положил руку на плечо друга: — Время-то как бежит, Афанась. Скоро и мне закругляться. Да-а... Но не зря мы жили, Афанась, не зря. Порой солоно приходилось и смерть в глаза смотрела. А ничего, осилили. Описать бы, к примеру, твою жизнь.

— Человек он на то и рóдится,— умиротворенно отозвался Афанасий.— Как же иначе ему? Животная и та в ином разе... Сивко вот тоже. Скотиняга, а... богатая жизнь. Сколь он, бедолага, натерпелся да перевидал люда всякого. Мы с ним старые друзья. В море вместе ходили, тонули, мерзли. Ему, Федор Абрамыч, под тридцать. Старый мосол.

— Неужто так много? Не слышал, чтоб тридцать лет лошадь жила.

— И больше случается. Дед мне рассказывал про один случай: в каком-то государстве одна лошадь сорока семи лет подохла...

— А кобелек-то у тебя откуда? — поинтересовался Федор Абрамыч.

— В городе пристал. Так и увязался...

— Ирландский сеттер,— определил Федор Абрамыч.— Знатный будет охотник. Избалуется он у тебя.

— Не спортится,— решительно возразил Афанасий.— Пущай живет, а случится со мной что — тогда и возьмешь. Тебе откажу...

— Ну, понес! Живи, пожалуйста. И никакого кобелька мне не надо.

— Ты погоди, Федор Абрамыч, серьезно я. Все там будем. Чё тут в прятки играть? Вот я и говорю: ежели что, и хутор себе возьмешь. Под дачку приспособишь.

— О Шуре забыл?

— Шура... все. И незачем, Федор Абрамыч, лишние разговоры говорить.

— Слушай, Афанась. Не знаю, что там у вас случилось. И не мне про то говорить. Ты старше. Только нехорошо все это.

— Чё же хорошего?..— выдохнул старик.

— Возможно, мне сходить к Шуре? Люди вы немолодые. И она тоже... На что надеется?

Афанасий мо́лком глядел на луг, и гость понял, что слова его впустую, как если бы зерна в мертвую землю бросить: всходов не будет.

4

В довоенные годы в ловецких ватагах работало много девчат да молодух. На каждом рыбачьем кошу ставили по две вместительные палатки из списанных ввиду негодности выцветших и пахнущих смолой и морем парусов: одну для мужиков, другую для баб.

По вечерам до полуночи из женской палатки слышались девчачий визг и взрывы хохота. Мужики после ухи сытыми котами посматривали на тот брезентовый шатер, отпускали соленые шуточки и, повздыхав, ныряли в свои пологи.

Про тоню «Зеленая» слава добрая шла среди рыбаков — знатные уловы брали. И видом «Зеленая» привлекала людей. Остров камыши́стый, ветловые кусты кучились вокруг становища, притонок золотился намытым паводками песком.

Афанасий был тогда молод и жилист: ходил с пятным колом — невод сдерживал, с весенним водобуйством схватывался один на один.

Шура с ним в одно звено угодила: на вахту вместе вставали, шабашили вместе, за один стол трижды

в день садились, когда рядышком, когда напротив.

Знакомство сводить им было без надобности — с ребятишек вместе по травным сельским улкам бегали, на прогретых полоях бесштанной оравой плескались.

В зрелую пору Шура знаткой стала, приметной среди подружек. Немало хлыстов увивалось за ней, да орешек народился не по зубам — ради забавы не раскалывался.

Афанасий в отношениях с Шурой серьезное намерение имел. Девушка уловила искренность в его стремлениях и отозвалась, приняла дружбу. По вечерам, когда ушедшее за окоем солнце золотило за́ревные облака, подолгу сидели молодые где-нибудь на яру и думали о будущей жизни, конечно же, светлой, счастливой, безмятежной. Откуда им было знать, что всего придется хлебнуть, а больше горького, и что жизнь их сложится, как лютому врагу своему не пожелаешь.

Посвадебничали они в жарку́ю, меж весенней и осенней путинами, в за́рное безветренное лето, а осенью — опять на «Зеленую». Тоня стала для них вторым домом: здесь полюбились, здесь сошлись, здесь и рыбачили до самого того года военного, когда наконец-то после семи лет их супружеской жизни народился Володька.

Для Афанасия событие это явилось неожиданной радостью, потому как и не надеялся детей иметь.

А тут и война грянула.

В начале первой военной весны, в сорок втором стало быть, Шура написала ему на фронт, что отняла Володьку от груди, пристроила у одинокой бабки, а сама работает на «Зеленой», что звенья сплошь из бабья, но есть и мужики, которых по броне оставили.

Не писать бы ей, бедолаге, про мужиков-то. Да откуда знать могла, что бесхитростные ее слова посеют в душе Афанасия мучительные сомнения. И для самого-то мужика такой оборот был неожидан. Знал же Шуру, никогда не думал о ней плохое, а возьми-ка вот его за рупь двадцать, ни с того ни с сего ревность в душе зародилась. Может, от злости: тут смерть каждый миг поджидает его, а там, в тиши речных заводей, средь буйной зелени, здоровущие мужики рядом с его женой ходят, смеются, едят, да и спят неподалеку — палатки в десяти шагах...

Он припоминал, как мужики зарились на Шуру, когда она еще в девках ходила, ненасытными глазами шарили по ее ладной фигуре и доверительно говорили друг дружке такие слова, от которых его, парня уже в зрелых годах, бросало в жар. Эти воспоминания болью отзывались в сердце. И всю войну как ржа разъедала изнутри слепая и страстная недоверчивость к близкому человеку, к каждому его письму, каждому слову. Себя временами не щадил, где другие хоронились — он наперед выпячивался, потому как ревность его в зверя превратила, а зверь, известно, безрассуден. И странное дело: при такой бесшабашности — жив остался. Ранения не в счет, главное — домой воротился.

После фронта остепенился малость. Но и тут каждое Шурино слово настораживало его, иной смысл искал он в нем, чуждаться жены стал. Зло корил себя, но зараза ревности намертво угнездилась в нем и точила, точила изо дня в день, из года в год.

Ловецкая жизнь тому очень даже способствует. Неделями живет рыбак на ловище. Угодья промысловые к тому же обмелели, опутались разной водоростью. Уезжали ловцы за рыбой на самое взморье — день ходу на подвесных моторах. Оттуда

часто в село не наездишься. В путинный рыбоход по месяцу, бывало, домой носа не кажут.

Ожили прежние страсти. Помрачнел Афанасий, осунулся. А тут, будто намеренно, чтоб досадить ему, всякую небыль-похабщину плетут мужики про баб, кто по злобе, кто от тоски дремучей. И каждый стремится выглядеть все испытавшим и все ведающим: мол, не встретишь бабы не блудницы.

Вот тут-то и ширнул его бес под ребро. Наведался как-то он домой. Попарился в баньке, переночевал и собрался уезжать. Проводила его Шура чин чином, помахала платочком, пока бударка не скрылась за ветловой излучиной, и ушла с реки.

А он схоронился за островами, дождался там окончания дня, да по́суху пешью вернулся в село. Черной тенью, крадуно́м пробрался в кумово подворье (еще днем узнал, что кума гостит у дочери чуть ли не в самой Москве) и постучал в ставень.

Кум Панкрат, заслышав возню во дворе, а затем и стук, подумал горестно, что вот и отдохнуть не дадут, что опять надо сквозь темень топать к больному, что давно бы надо открыть в селе врачебный пункт и уж тогда-то наверняка его, фельдшера, оставят в покое и слушать стук в ставень придется не ему, а врачу.

Приоткрыл Панкрат дверь в сенцах, спросил:

— Кто там? Никак ты, Афанасий?

— Я, кум...

— Ты ж... уехал, кажись. Заходи, что это мы стоим.

— Уехал, да не весь,— осевшим голосом возразил Афанасий.— Дело у меня, кум.

— Ну-ну. Без дела, понятно, средь ночи не явишься. Садись. Ты не заболел ли ненароком. Кровинки нет на лице... и мокрый весь.

Афанасий достал из-за пазухи бутылку водки и, пряча глаза, еле слышно сказал:

— Шуру, кум, спытать надо...

5

Федор Абрамыч сдержал слово: Сивого оставили на хуторе. Такому решению Афанасий, понятно, был несказанно рад. Каждое утро, далеко до солнца, шел он на луг, где пасся меринок. Трезвый шнырял по ро́сным кустам, озорно облаивал пугливых глазастых лягушек.

Сивый, завидя хозяина, вскидывал тяжелую голову, тихо и радостно ржал. Отвисшая мягкая губа мелко-мелко вздрагивала — на водопой просился.

В первые нерабочие дни Афанасий спутывал меринку ноги, затем оставил это ненужное занятие: Сивый и без пут далеко от хутора не убредал. Он, как и прежде, по утрам и на вечерней заре ждал старика, чтоб тот отводил его на водопой, хотя река была рядом и конь мог сам дойти до нее.

Эта уловка коня пришлась по сердцу Афанасию, потому как объяснить ее можно было только привязанностью животного.

С реки старик отводил Сивого подальше, на другой, нетронутый конец луга, а сам брал косу и обкашивал ветловые кусты в окрестностях хутора — запасал на зиму сено. Надеяться на рыбкооп не приходилось. И колхозу не до старого, выбившегося из сил бесхозного меринка: свою скотинку бы лишь продержать до весеннего свежетравья. Можно, на худой конец, к Федору Абрамычу обратиться, не прогонит, подбросит возок. Однако вернее самому наскрести, незачем занятых людей попусту от дел отрывать да в нахлебниках числиться.

Косил старик, пока не припечет солнце. После обеда, переждав ярый зной, шел в село, чаще всего в магазин. Все нужное для дома в один приход не брал, покупал помаленьку, сегодня одно, назавтра другое, так, чтоб был повод ежедéнь наведываться в село. Не дичать же на отшибе!

Под вечер опять доставал из сарая косу, снимал полотно с косовища, усаживался на холодную траву под тем самым топольком, где Федор Абрамыч всякий раз ставит машину. Удобно зажав в жесткой ладони пятку косы, клал лезвие на бабку, тюкал молотком подолгу и размеренно — отбивал косу.

Сырой вечерний воздух охотно подхватывал звонкие металлические звуки и нес далеко от хутора — к селу, за реку к ферме, за луг...

Сивый, заслышав звуки, поворачивал голову, высматривал Афанасия, ждал: вот отстучит молоток, затихнет на заимке, тогда придет на луг хозяин, и они пойдут к реке.

Всяких людей встречал Сивый на своем веку. В молодые годы он как-то и не принимал их всерьез. Он пасся в табуне сам по себе, а люди жили в селе сами по себе. Повстречает, бывало, в поле человека, любопытно вскинет голову и отбежит прочь — так было спокойней.

Но однажды (как это случилось — он и по сей день не может понять) что-то колючее и хлесткое обвилось вокруг шеи, рвануло в сторону и сбило его, полудикого пятилетнего нéука, с ног. Люди набросились на него, долго и противно окутывали арканами, совали в рот что-то холодное и противное на вкус. Когда они отпустили и разбежались, Сивый вскочил. Но то же колючее и липкое обожгло шею, морду, губы...

Спустя неделю его вновь повалили в загоне —

легчали. Пахло непривычным и раздражающим. Что-то острое обожгло в паху, боль оглушила жеребчика. Но люди безжалостно опутали ноги, и он, теперь уже меринок, в бессильной злобе на людей храпел, целя на них налитые кровью глаза.

Много времени истекло с той поры. Сивый не знает счета годам, но иногда прошлое приходит к нему во снах. И сколько бы раз ни снились ему те кошмарные и страшные дни, Сивый всякий раз просыпается со стоном, ибо кажется ему, что он не дряхлый меринок, а все тот же неуемный, молодой, не знающий упряжки жеребчик, и люди опутывают его, опрокидывают на сырой травянистый луг.

...Его определили в разъезд. Каждое утро колхозный конюх впрягал Сивого в легкую рессорную двуколку. Это с утра только она казалась легкой. Гоняли Сивого весь световой день и даже больше. Еле, бывало, добредал до конюшни. И чуть ли не каждый день новый ездок. И хлестали его прутьями, и кормить забывали, сутками без воды бывал. При таком хозяйничанье конь на глазах захирел.

Всего, одним словом, навидался, пока к Афанасию не попал. Что у нового хозяина будет добрая жизнь, Сивый смекнул быстро. Распорядок тут был заведен образцовый: вовремя поили, вовремя кормили... Если час кормежки в дороге настигал, непременно передышку дозволяли. Коня пока не ухо́дит, не успокоится — таков уж Афанасий.

Рыбаки в те послевоенные годы выходили зимой на Северный Каспий. Морозы держались знатные, ледяная кромка доходила до пятисаженной глуби. Белорыбка ловилась, но редко, больше частик промышляли — сазана, судака, леща...

Жили ловцы в шалыгах — ледяных буграх, и кони тут же, у палаток, от непогоды хоронились. В от-

носы, правда, Афанасий с Сивым не угождали, но тонули однажды — оттепель на море застала. Покуда сети обработали да выбирались до чéрней — прибрежных островов,— расслюнявилась дорога, прососы черными воронками зазияли на ледяном поле.

Накупались вдоволь — еле дотянули до берега. Последние версты не Сивый вез рыбака, а сам Афанасий с подручным выбивались из последних сил, тащили возок, а на нем лежал конь: негнущиеся ноги одеревенели колотушками — из последней майны долго не могли вытащить Сивого. Вызволили когда, Сивый обезножил, не поднялся. Ловцы с трудом взвалили его на сани... А пока везли — застыл: шкура залубенела, дышал тяжело, с просвистом.

Спешно с наветренной стороны запалили кострища. Благо, камыша сухого на острове — завалы непролазные, да и леса-бурелома немало. Афанасий достал из брезентового мешка, увязанного к передку возка, две бутылки водки, нетрожно хранимые морскими рыбаками для таких вот случаев.

Приподняли Сивому голову, вылили в зубастую пасть содержимое бутылки. В горле забулькало — прошло. Остальной водкой натерли коленные суставы, грудь.

Всю ночь палили камыш и ветловый бурелом. Ближе к свету Сивый очухался, поднялся на ослабевшие ноги, пьяно косил глаза на мужиков, а в полдень шажком-шажком потянул к селу сани с ловецкой сбруей. С той поры ноют, скрипят ревматические суставы. По той же причине его отдали в Рыбкооп.

Спустя много лет, когда Афанасий стал возчиком и пришел принимать меринка, Сивый сразу узнал прежнего хозяина, радостно встрепенулся, заржал призывно. Но Афанасий непривычно шатался на ногах, и от него дурно пахло.

Сивый обиженно косил на него глаза и прядал ушами. Афанасий, видимо, ничего и не подозревал, а он-то, Сивый, помнил, что давным-давно они рыбачили вместе, мерзли, тонули...

Ах, старость-старость. Целыми днями понуро стоит Сивый на лугу или же лениво, без всякого смака щиплет траву. Работы нет, отходился в упряжке. И вся радость его конячья — те недолгие минуты, когда рядом Афанасий, да еще, как вспышки, короткие сны.

Чаще он видит себя во сне молодым гривастым нéуком рядом с Роской — красивой стройной кобылицей в серебристых яблоках на мышастой лоснящейся шерсти. Роску он отбил у косячного жеребца. Совсем обнахалился старый вожак, всех молодых кобылиц не отпускал от себя ни на шаг, а неуков-жеребчиков отгонял от косяка, кусал, сбивал с ног.

И тогда Сивый, озверев от ревности, основательно потрепал кусачего спесивца и с позором прогнал из табуна. Весь косяк признал власть Сивого, а кобылицы ласково и призывно ржали, когда он проходил мимо них.

К Роске с того дня ни один конь не смел подходить — опасались его острых копыт. А она стала еще привлекательней: серебристые яблоки на иневатой масти дрожали, словно капли росы на бархатистых листьях кубышки. Круп у Роски удлиненный, шея тонкая, изящная голова красиво вскинута. Бежка мелкая и рысистая. Скачет на точеных ножках, будто пританцовывает.

А еще ему снились волки. Целая стая. Жеребята-однолетки и стригунки сбились в табунок, кобылицы окружили их — головами в круг, приготовились задними ногами отбиваться от хищников. Сивый остался вне круга. С широко раздутыми ноздрями,

с глазами навыкате и высоко вскинутой головой, он отчаянно ржал и бегал вокруг своего косяка.

Когда волки обнаглели и подошли совсем близко, Сивый метнулся к ним. Матерый волчище, видимо вожак стаи, кинулся навстречь, целя зубами в горло косячного, но Сивый волчком крутанулся на месте и принял зверя на задние копыта.

Серым мешком с рассеченным лбом свалился волк на пожухлую траву. Почуяв кровь, табун будто взорвался. Вслед за Сивым тяжелым наметом озверевшие кобылицы бросились на волчью стаю и разогнали ее.

После каждого такого сновидения Сивый озабоченно моргает, не в силах уловить: как же в одно мгновение из молодого и сильного он превращается в дохлого, болезненного мерина... Усталостью наливается тело, тяжестью — ноги, голову гнет к земле, веки заслоняет дневной свет, и снова одолевает сонливость.

В короткие минуты бодрствования Сивый лениво трясет головой и всхрапывает — старые кости чуют ненастье...

6

Октябрьская пора на Нижней Волге золотая. Отдулся афганец — колкий жгучий суховей, не зло, мягко припекает солнце. Небо чистое — по неделям ни пятнышка, оттого и воздух свеж: дышать им, что родниковую воду пить, — одно удовольствие.

Об эту пору городские любители «подышать» частенько навещают Афанасия. И все больше народец легкой, бумажной да словесной профессии: артисты, газетчики и всякий руководящий люд. Друг по дружке познакомились со стариком. А теперь уж каж-

дый сам по себе, кто когда денек выкроит, наезжает на заимку.

Афанасий завсегда-то был гостям рад, а ныне, в пенсионное безделье, и подавно. Увидит свежего человека и душой оттаивает. И так с ним и этак, лишь бы приглянулось тому да лишний денек пожил на хуторке.

Только редко Афанасию такая удача улыбается. Гости все важные, занятые, к сроку спешат в городе быть: одному в газету писать, другому комедию играть, а третьему заседать непременно нужно, и вроде бы, если не посидят да не поболтают в намеченный день и час, и работа всякая остановится.

По случаю городских гостей инспектора рыбоохраны негласно разрешают Афанасию сетчонку поставить. Не срамиться же перед людьми наезжими, не всякий же раз за блесну или червя рыба хватается. Иногда, к непогоде, положим, лежит на дне и полусонно двигает жабрами. Ей в таком разе хоть в рот наживку суй — плавником не двинет. Тут сеточка очень кстати: выбьешь ее вдоль кундраков, пошумишь малость, и порядок — ушица обеспечена. А когда заморского гостя привезли, тут рыбонадзорцы не только разрешение дали, а и осетра сами словили и доставили, чтоб, значит, краснухой угостить. Но об этом после...

Золотой октябрьский сезон открыл маленький взъерошенный человек из областной газеты. Посмотреть со стороны — будто воробей из кошачьих лап только что вырвался: рыжие волосы сосульками торчат, рубаха пузырится из-под ремня. Брюки-джинсы на коленях волдырями, и узкие до неправдоподобности. Непонятно даже, как он в них задницу умудрился втиснуть.

И фамилию он носит странную, но под стать се-

бе: короткую и несерьезную — Стась. Имени его Афанасий не знал, спрашивать стеснялся, так Стасем и звал.

В газете Стась чуть ли не самый главный: не только сам пописывает, а и командует: кому куда ехать, о чем писать, на какую страничку материал поставить, сколько сократить, сколько добавить. Секретарь, одним словом, да не простой,— ответственный.

Стась привез с собой две бутылки коньяку и целый короб блесен, хотя сам и понятия не имел, куда и за что их цеплять. Он каждый раз привозил их и бывал несказанно рад, если кто-либо пользовался его снастями, охотно дарил их. Поскольку Афанасию все эти сверкающие медяшки и нержавейки тоже без надобности, а гостей, кроме Стася, на этот раз не было, то короб даже и не вытаскивали из рюкзака.

Перво-наперво Стась раскупорил бутылку и хватил коньячку. Афанасий отказался:

— Чё ее без еды хлестать! Под ушицу — ино дело.

— Ну-ну... Как знаешь. А я приехал душу отвести, подышать малость,— и опять потянулся к бутылке.

— Этак ты и в городе мог.

— Воздух не тот. Заводы дымят, машин на улицах — не протолкнуться. У тебя тут благодать.

— Оно, конечно,— согласился Афанасий.— Дыши, стало быть.

— Вольготно тут. Никто не мельтешит перед глазами — ни редактор, ни жена. Ни строк не требуют, ни денег. Переберусь я к тебе, старик. Ей-ей, переберусь. Будем вдвоем рыбачить, охотиться...

Стась и ружьишком иногда балуется. Оттого он Трезвого сразу приметил и заинтересовался:

— Откуда, Матвеич, зверюгу эту бесценную раздобыл? — Он выслушал объяснения Афанасия и посожалел: — Жаль, ружья не прихватил. Испытали бы. Работает?

— Ходил намедни на утряночку, снял шилохвостня. Ничего... помял малость, но принес.

— Умница. И здоровущий...

— Дюжóй, а к драке не приспособлен. Сойдутся когда, он все боком норовит к ним, ну и влетает по первое число.

— Талант у него в другом. Хорош, ничего не скажешь. Ну что, старина, порыбачим?

— Можно,— охотно согласился Афанасий.— Ружье вот только возьму. А ты пока куласик подчаль к лодке.

— Ну-ну,— Стась подхватил рюкзак с ловецкими снастями и направился к лодке. — Айда, Трезвый...

Они приехали на «Зеленую». Старик выбрал место помелководнее — воды чуть повыше колена — и стал набирать сеть.

Стась, зажав коленками Трезвого, гладил его по спине, а сам все прикладывался и прикладывался к бутылке, наполовину опорожнил ее.

— Мы чего ждем? — спросил он, будто забыв, зачем они здесь.

— Счас сеточку выбьем и на ущицу наловим. На твои закиднушки надежды мало.

Стась перевесился за борт, увидел рядом илистое в водорослях дно, удивился:

— Ты серьезно, Матвеич? Какое уважающее себя животное будет жить в этой луже?

— Животное, положим, не будет, а рыба есть. Потерпи малость.

— Рыба-то, по-твоему,— что это?

Афанасий снисходительно улыбнулся несуразно-

сти вопроса и, чтоб не обидеть гостя, ответил рассудительно:

— Рыба, она и есть рыба. Чё тут мудровать шибко?

— Пока сетку налаживаешь, я тебе, старик, лекцию прочту. Рыба — хочешь ты того или нет — тоже животное. Только водяное и с холодной алой кровью. Среди людей, между прочим, тоже есть такие — с холодной алой кровью. Не встречал? Счастливый ты человек!

Стася всегда интересно слушать. С ним забываются все невзгоды одиночества. Есть у него слабость одна — любит байки травить про свои знакомства с большими людьми. Поверить — с министрами запросто. Видно, так оно и есть, попусту травить не станет. Рассказывал он Афанасию в прошлый приезд, как призвал его министр к себе в просторный московский кабинет и повелел про каспийских ловцов в газету пропечатать, книгу сочинить и целое кино снять. И будто бы все его слова Стась сполна исполнил, а министр за его труды обещал ему командировку на все океаны, сколь их есть на Земле.

Художный, одним словом, человек, может изобразить кого хошь. Особенно его же брату газетчику достается на орехи.

— Коль ничего путного, Матвеич, не получается из человека, подается он в газету.

— Что так непочтительно? — изумился Афанасий.— Чай, пишет, разбирается, поди-ко?

— По верхам, по Европам блохой скачет.

— Чудно, пятнишь себя.

— Ничего не чудно. Возьмем, к примеру, меня и тебя. Оба человеки, а разница дикая. Ты кто? Рыбо-лов. А я? Рыбо-ед. И я же тебя через печать нашу наставляю, как рыбу ловить. Ловко, а?

Поставили сеть, и старик отвел лодку к яру, под тень ветлы.

— Тут приглубь. И вода сильная. Окунь, а случается, что и судачок берется. Ты того... располагайся, а я вечернюю зорьку в култучке отсижу. Чирок там к ночи копится. Раскормленный, стервец,— летит, а жир капает.— Афанасий тихо заулыбался своей шутке и подтянул к борту легкий охотничий куласик.

Трезвый без приглашения перескочил через бортовину плоскодонки, спрыгнул в куласик и распластался на мостках.

— Готов,— подивился Стась.— Явился не запылился.

— Ружье в руках увидел — шагу не отстанет,— ласково отозвался Афанасий.— Кровя в нем охотничьи.

Старик шагнул в шаткий куласик и потолкался шестиком в ильмень. И сразу же Трезвого будто подменили: тихо повизгивая, он тянул шею над бортиком, осматривал прибрежные заросли и косил глазами на хозяина.

В култуке Афанасий отыскал камышовый колок, схоронился в нем и затих. Вот тут-то и началась для Трезвого самая подлинная пытка. В какой-нибудь полусотне шагов от куласика на ильменную чистовину упала первая стайка чирков — малых утиц. Вожак — ничем почти не отличный от остальных чирков — тонко и торопясь покрякал для приличия, и тут же вся стайка, будто того только и ожидала, затрепетала хвостиками, сунула головки в мелководь, и началась пирушка-побирушка. К первой стайке подсела вторая, третья...

Утки — будь то кряква, крыжень, крохаль гоголь, свиязь, свистуха, шилохвость, серуха, широко-

нос, чернедь, грязнушка или же чирок — на редкость прожорливы. А потому стайка потеряла всякую осторожность. Вокруг свистело, крякало, всплескивалось... Трезвый дрожал, облизывался, неслышно скулил. Афанасию едва-едва удавалось успокаивать собаку: он гладил шершавой ладонью по гладкой спине, шептал успокаивающие слова.

А тут налетел ястреб-тетеревятник. Ильмень вмиг вздрогнул, поднялся на крыло. Ястребок ударил в крайнюю стайку, вышиб селезня-широконоса и скрылся с добычей за камышами.

Через минуту птицы забыли о злодействе хищника. Шумливые стайки вновь заполнили мелководья.

Афанасий помногу не стрелял — припасы берег. Оттого он и выжидал, когда поблизости скопится дичь, чтоб обойтись одним выстрелом. Когда стало смеркаться, он облюбовал стайку поплотнее и выстрелил. Еще не стих звук выстрела, а Трезвый уже плюхнулся в воду и, путаясь в камышах, выбрел на чистое. Птицы, спугнутые выстрелом, а затем и появлением Трезвого, пометались-пометались над ильмешиной и малыми стайками скрылись за камышовой крепью — в соседние култуки потянули.

— Вот мы и поутятничали,— ласково сказал Афанасий, когда выехал из скрадки и с помощью Трезвого собрал трофеи — четыре чирка-свистунка.— Супец будет знатный для Стася.

Вскоре они возвращались на заимку. Стась после долгого молчания сказал с сожалением:

— Обмелела Зеленая!.. А какая тоня была!

— Что — тоня,— живо откликнулся Афанасий.— На моем веку море отошло на полсотню верст, никак не меньше. Вконец спортили мы морюшко наше, а? Испохабили Волгу-то...

— Э-э, старик, и тебя туда же повело. На Волге,

согласен, переусердствовали. Да ведь есть-пить надо. Орава под триста миллионов душ. Такая семейка каждый день с Эльбрус уплетет. Вот и осваиваем земли... Заводы строим, плотины. А заодно красную рыбу переводим, белорыбицу на нет свели, зало́м — тоже... Попортили Волгу. Но Каспий, старик, и сам по себе мелеет. Тут мы ни наполнить его, ни вычерпать пока не можем. Кишка тонка. Шалопутное море нам досталось, что и говорить. Оно может и совсем усохнуть.

— Так уж и совсем? — недоверчиво переспросил Афанасий.

— Случалось в древности. Подчистую почти, одна Бакинская впадина оставалась. Колужина, да и только. И дельта Волги была... Где бы ты думал?

— Где была, там и есть, чё тут гадать.

— На Апшероне. Не знаешь? У самого города Баку.

— Ну и сочинять ты, Стась, здоров. А сам болтаешь, что в газете одни неспособные...

Со Стасем всегда так: приедет, наговорит что ни попадя, а опосля Афанасий ночами не спит, размышляет. Вот про море и Волгу тоже загнул да еще предупредил, что не за один год такое случается, и не за тысячу лет, а за миллион. Чудак-человек, кому ведомо, что было вот тут, к примеру, на его, Афанасьевой, заимке даже сто лет тому назад. А он... Миллион рублей представить невозможно, а уж годов-то и подавно. Нет, не заскучаешь со Стасем!

И весь вечер, пока варилась юшка, Стась рассказывал разные были-небылицы. Изба наполнилась запахом ухи, духовитым, густым — хоть воздух ложкой хлебай.

Афанасий выбрал рыбу и стал разливать уху по тарелкам. Стась подцепил ложкой большой кус ва-

реного судака и вынес Трезвому. Но тот доброту городского гостя не оценил, брезгливо потянул воздух, отошел прочь, чем обидел Стася.

— Черной икрой, не́што, угостить, образина? — В избе он упрекнул Афанасия: — Барчука растишь. В следующий раз колбасу сырокопченую по четыре восемьдесят привезу ему.

Афанасий улыбнулся и сказал примирительно:

— Из чужих рук не принимат... Умняга.

Наутро Стась отбыл домой.

— До весны, видать, прощевай. Ну, будь...

Однако через недельку нагрянул нежданно-негаданно, да не один, а с гостями — с живым паном, с паньей. К Стасю в гости они пожаловали, а он их — на заимку, ушицы похлебать привез.

Афанасий, когда Стась сказал, что гости заграничные, малость оробел. Но присмотрелся — ничего особенного. Может, в старину паны были другие, а эти, нонешние, совсем нормальные люди. Пан Ежи (так он представился Афанасию) оказался веселым мужиком, разговорчивым. И по-русски чисто лопочет: во время войны от немцев бежал, в Москве жил, потом воевал за Польшу. И жена у него русская. Наталья. Дотошная баба. Все-то ей надо знать, обо всем-то она расспрашивает. В первый же вечер за ужином устроила Афанасию форменный допрос: да почему один, да где жена... Афанасий, как ни крепился, осерчал и выпалил в сердцах:

— Померла.

Наталья завздыхала, заохала. Пан Ежи, спасибо ему, помог: вышел из-за стола и сказал строго:

— Спать, Ната. Завтра на зорьке вставать.

Наталью будто ветром выдуло из-за стола.

— Пристала, как банный лист к заднице,— заворчал Афанасий, когда они остались вдвоем со Стасем.

— А Ежи-то — дисциплину любит, а? — одобрительно усмехнулся Стась.— Как он ее.

А наутро с паном Ежи очень неприятный конфуз у Афанасия приключился — расстройство сплошное. Рыбонадзорцы, едва прослышали про важного гостя, тут же заявились — осетра на уху привезли. Пан Ежи их поблагодарил, но захотел сам осетра словить. Посоветовались охранники с Афанасием и, чтоб гостя уважить, привезли плавную сеть — режак.

Наладил Афанасий плоскодонку, весла навесил, сеть-плавнушку набрал в корме и поехали: он, Стась и пан Ежи. Выехали на плавной участок, Стась сел в весла, а сам хозяин сеть стал метать. Пан Ежи молча наблюдал, примечал, что к чему, а как подошло время выбирать плавную, заявил:

— Дай-ка мне.

— Ну, спробуй,— согласился Афанасий.

Стась табанит веслами, будто рыбак заправский: сеть брать легко, вот она — у кормы.

Пан Ежи выбирал сеть неумело, в ногах оказался неустойчивым с непривычки: чуть качнется лодка, хвать рукой за борт. Афанасием овладело беспокойство: ну как за борт вывалится? Подумал он так и незаметно для гостя потянулся к темляку, которым осетров багрят, чтоб при случае за штаны пана не зацепить.

Однако пан из лодки не выпал, неувязка произошла, когда он осетра к борту подвел. Сунулся Афанасий подсобить, да пан отстранил его — уж очень хотелось ему самолично осетра словить.

«Ну-ну,— согласился Афанасий,— посмотрим: ты его или он тебя...»

Пан осетра обнял, как бабу, и потянул на себя. Это все равно, как если бы лягливого коня-неука за хвост ухватить.

Осетр запутался матерый: извивался, фонтанил. И в тот момент, когда пан Ежи обнял его, двинул изо всей силы, изогнулся и был таков: только махалка луной мелькнула. А пан на дне лодки плашмя распластался.

Афанасий такого вытерпеть не мог и обложил пана Ежи трехэтажным матом:

— Так-растак-перетак... Растяпа! — И осекся под удивленным взглядом Стася.

Гость вроде бы и значения не придал Афанасьевой вспышке, а ему, хозяину, с той самой секунды стало не по себе.

«Вот влип так влип,— думал старик.— Это что же теперь будет?»

Печалился старик до самого вечера. За ужином пан Ежи первый тост предложил за дружбу. И тут Афанасий не стерпел, повинился.

— Ты уж того, пан Ежи, не особо серчай. Язык-то, поганец, бегучий, моторнее головы. Помыслить не успел, а слово слетело...

Пан Ежи улыбнулся озорно и ответил, напирая на шипящие звуки:

— А вот если бы ты, Афанасий Матвеевич, на моих глазах осетра упустил, выкинул бы я тебя из лодки.

Пан-то своим мужиком оказался! Посмеялись над случаем, а затем пан Ежи говорит:

— Одного упустил, но второго вытащил, а? Дома рассказать — не поверят, засмеют.

— Наталья удостоверит,— успокоил Афанасий.

— И ей не поверят,— настаивал пан Ежи, а сам посасывал гаванскую сигару в палец — привычка у него: перед сном выкурить сигару. Цельный день глотка дыма в рот не берет, а ближе к ночи, как засмолит, от духа того хоть из избы вон.

А Наталья бабенкой душевной оказалась. Любопытная, правда, малость, да ведь все они такие. А заботливая — страсть какая: глаз своих с пана не сводит, старается упредить все его желания. Афанасий даже позавидовал: так и состарятся вдвоем, а ему, мослу старому, никто и слова ласкового не скажет.

Гостевали они недельки полторы. На утренней зорьке Афанасий отвозил пана Ежи и Стася к плесу «Зеленая». Иногда с ними увязывалась и Наталья. Но больше ей нравилось встречать солнце на заимке.

Оставив рыбаков, Афанасий возвращался домой готовить завтрак. И всякий раз Наталья ждала его у яра под топольком.

Афанасий примечал ее сразу же, как только выезжал из-за островка. Ладная, еще сохранившаяся фигура вырастала на крутояре. За эти дни старик привык к Наталье и, еще до того как выехать на плес, думал о ней, и непонятно отчего радовался, когда ее цветастое платье пестрело на яру.

Но в одно утро женщина не встретила его. Напрасно он шарил глазами по берегу, по луговине, напрасно окликал Наталью, заглянув в избу, сарай и закутки. Его встревожило отсутствие женщины, хотя сразу же пришла в голову мысль, что Наталья, возможно, ушла в сельцо за молоком или же в магазин. Случиться с ней ничего не могло, но тревога не оставляла Афанасия.

Он достал из лодки живых, только что выпутанных из сети судаков и принялся разделывать их. Мелкая серебристая чешуя снежными блестками сверкала на солнце, сыпалась под ноги, липла к рукам.

И тут Афанасий понял: конечно же, Наталья уш-

ла в село, и его волновало не опасение за нее, а само отсутствие ее. Много-много лет женщины не жили в его избе, он уже отучился видеть в своем доме женщину, привык к одиночеству. Только вина перед Шурой тяготила его, непроходящей болью саднила в сердце.

Правда, Федор Абрамыч иной раз на денек привозил жену и дочерей, но они в избу и не заходили. Плескались в реке, загорали на солнце. Так что они не в счет. А Наталья уже неделю на заимке, и он свыкся с ее присутствием.

И вот сейчас пустота была невыносима. И Афанасий со страхом подумал о тех недалеких днях, когда гости уедут и он остатки осени и всю долгую зиму будет коротать один.

Его невеселые рассуждения прервал Натальин голос. Афанасий вскинул голову и увидел ее на супротивном берегу, и немало этому подивился.

Он перевез ее на шатком охотничьем куласике и всю обратную дорогу, пока не причалил к мостинке, беспокоился, как бы нечаянно лодчонка не зачерпнула воды. Но все обошлось. Наталья сидела, вцепившись руками в бортовины, и рассказывала:

— На ферме была. Женщины утром шли, доярки. Ну и разговорилась с ними да и переехала на лодке. Одна-то побоялась обратно, не умею... Вы уж, Афанасий Матвеевич, не серчайте.

— Да что ты, Наташа. Для меня удовольствие сплошное, когда люди...

Потом он жарил рыбу, а Наталья готовила подлив: крошила лук, морковь, открывала банки с томатом и другими специями, которые она привезла в большом количестве.

Наталья молчком поглядывала на старика, потом сказала:

— Трудно одному...

— Привык я.

— Сойтись бы вам с кем. Одиноких женщин разве мало?

— Оно конечно... — неопределенно ответил Афанасий.

— Сегодня с одной познакомилась на ферме... Ладная такая, степенная. Работает — засмотришься.

«Никак о Шуре»,—подумал Афанасий и затаился вслушиваясь в Натальины слова.

— Тоже одинока,— продолжала Наталья.— С ней бы вам и сойтись, а? Умная, видать, женщина. Вы-то ее знаете, Александрой зовут.

— Как не знать,— тихо ответил старик.— Свои, чай... сельские.— А сам подумал о доярках: «Балаболки. Раскудахтались, порассказали...»

— Вот я и говорю: отчего бы вам не сойтись.— Наталья сделала вид, что ничего не знает об отношениях Афанасия и Шуры. Она искренне хотела добра им обоим, потому что видела, как неприкаян старик, как нелегко ему, а стало быть, нелегко и Шуре.— Вдвоем легче жить,— осторожно сказала она. Афанасию стала надоедать ее навязчивость. Ему бы оборвать ее, чтоб не совала нос, куда не положено. Однако резкие, обидные слова не шли на ум. Да и как нагрубишь, коль женщина горюет за него, переживает сердечно. Жалеючи его старается. Афанасий скрыл раздражение и свел разговор в шутку.

— Ничего не выйдет, Наташа.

— Почему?

— Для настоящей свадьбы нужны три свахи. Одной мало.

— Три-то зачем? — простодушно отозвалась женщина.

— По старинному обычаю положено. Одна сва-

ха женихова, моя, стало быть. Другая — невестина, которая косы расчесывает. Ну а третья—пуховая— самая главная.

— Какая? — Наталья удивленно вскинула брови.

— Постельная, иными словами. Которая молодых спать укладывает.

— Наговорите, Афанасий Матвеевич,— смутилась Наталья.— Я вам серьезно, а вы...

— А теперь, ежели серьезно, последи за огоньком, а я, пока жареха спеет, за мужиками съезжу. Проголодались, поди-ко...

7

Отгостевали на выселке все знакомцы и дружки Афанасия.

Иные по разу, иные и дважды наезжали порыбачить, уток пострелять, жили и по одному дню и по неделе.

Оставшись один, Афанасий занялся конопаткой избы. Не думал нынешней осенью заново пробивать пазы, да скукота и одиночество не позволили это дело оставить до грядущих времен.

Неделю почти пробивал щелястые пазы паклей. Смолистая липкая конопа́ть, скрученная в тугой жгут, пружинила, с трудом вгонялась промеж пластин. Целыми днями окрестность односелка оглашалась звонкими ударами деревянной колотушки, оши́ненной по краям, чтобы не мочалилась вязкая древесина тутовника.

Каждое утро мимо избы проходили доярки. А с ними и Шура.

— Тепло загоняешь, дядь Афанасий? — озорно спрашивала какая-нибудь молодуха. И Афанасий в тон ей отвечал:

— Некому греть-то старые кости бёздому-бобылю.— А сам косил глаза на Шуру и вспоминал Наталью. Чудная, право. Хотела женить Афанасия на его же собственной жене. Да разве Шура согласится! Она и слушать об этом не захочет!

Наступили холода. По утрам, повторяя изгибы берега, на реке серебрились окрайки. Началось лéденье. С каждым днем кромки нарастали, сдвигались с обеих сторон реки, сужая проходы, по которым редко когда пробегала дюралевая охотничья шлюпка или прогонистая ловецкая бударка. По бороздине начался ледоплав — шла шуга.

В одно утро Афанасий, по обыкновению проснувшись на зорьке, спустился к реке, пешней попробовал крепость льда и пошагал на ту сторону. Лед гнулся, трещал, из-под ног холодными молниями разбегались серебристо-голубые лучи. Но старик шел уверенно, знал, что перволед, как беспородный пес: много от него шума, а не опасно. Страшен весенний игольчатый рыхлолед — рассыпается без предупреждения: ступил на него и уже в майне забарахтался.

В последние дни женщины с трудом пробивались на лодке через ледяные заторы дважды в день: туда и обратно. Потому и порадовался старик, когда испробовал трескучий ледок.

Потом Афанасий прошел ниже по реке, где, одиноко приткнувшись к яру, вмерзла в лед паромная лодка. Пешней он обил вокруг нее лед и в это время услышал женские голоса — к реке шли доярки. Они поздоровались с Афанасием и окружили его.

Трезвый вертелся под ногами. Он привык к женщинам и, едва завидя их, спешил навстречу.

— Давайте-ка, бабоньки, вытащим бударку,— скомандовал старик.

— Льдом можно, дядя Афанасий?

— По одной пройдете,— отозвался старик.— А ну, берись...

Они оттащили лодку на взгорок, опрокинули вверх днищем.

— Спротив проруби топайте, да не все вдруг,— предупредил Афанасий, а сам отошел к избе и не спускал глаз с баб, чтоб беда не приключилась.

Доярки ушли, и Афанасий опять остался один. В базу заржал меринок. Старик вывел его из база, и они втроем спустились к реке.

Сивый помногу и с долгими перерывами цедил ледяную воду сквозь черные изъеденные зубы. Трезвый, улавливая одному ему доступные запахи, рыскал взад-вперед. А Афанасий думал о нерадостной своей доле, о том, что вот и жизнь позади, что остался он одиноким, как черт на болоте, и никому-то не нужным на этом свете. Разве только Сивому...

Студеные ненастные дни шли чередой и были словно близнецы: одни и те же стены, одни и те же хлопоты, скука...

И нынешний день близился к концу. Ненадолго появившееся холодное солнце коснулось ветлового леска. Афанасий подшивал кожей прохудившийся валенок, когда ему почудился испуганный вскрик. Вроде бы — женский. Он прислушался, но в избе попрежнему стояла тишина.

Старик орудовал кривым шильцем, протыкал у шва еле приметную дырку и протаскивал сквозь нее дратву со щетинкой. Занятие это нравилось Афанасию, потому как успокаивало, отвлекало от грустных мыслей. С наступлением холодов, по вечерам, старик вычинил почти всю свою обувку, получалось неплохо, и он подумывал, а не взять ли в селенье на чинку валенки, занять таким образом длинные, полные скуки зимние дни.

Но на этот раз тревога, родившаяся в душе от вскрика, не угасала, и шитье не успокаивало. Вдобавок ко всему истошно залаял Трезвый. Тогда Афанасий отложил валенок, прошел в переднюю и, едва дошел до окна, сквозь запотевшее по краям стекло увидел ниже по реке человека в майне.

Вскрик, оказывается, был не обманным, на реке тонул человек, и Афанасий, как был в шерстяных носках и фланелевой косоворотке, без шапки, сбежал с крыльца.

Пробегая мимо навеса, он вытянул из-под него свежеоструганную доску, изготовленную для ремонта плоскодонки, и тяжело поволок тесину к реке. А сам между тем не переставал дивиться, отчего это тонущий человек не зовет на помощь. Видать, уже ослабел порядком.

Ступив на лед, Афанасий поскользнулся и упал. Пока он поднимался да взял в руки конец доски, женщина (теперь Афанасий ясно увидел, что это была женщина) последними усилиями вскарабкалась на кромку, но лед приглушенно треснул, и она с головой ушла под воду.

У Афанасия перехватило дыхание: все! Теперь-то вода утянет ее под лед. Он даже остановился, но тут же сорвался с места и тяжело затрусил к полынье, потому что увидел над кромкой судорожно вцепившиеся в лед руки, а потом и женщину — удержалась!

И тут он узнал Шуру, а признав, еще больше струхнул: ведь и плавать-то по-людски не умеет, утопчивая. Летом и то боялась глуби, а тут в стужу зимнюю...

Ах, Шура, Шура, боль ты незаживающая...

Афанасий подтолкнул тесину к майне и на четвереньках, по наледи, подполз к Шуре. Она совсем

обессилела и даже не пыталась вскарабкаться на лед. Шура вроде бы и не сразу поняла, чего хочет от нее Афанасий,— смотрела на него безразличными неживыми глазами. Волосы ее оледенели, на ресницах ро́сными каплями светлели бусинки льда.

С великим трудом Афанасий вытянул Шуру из воды и оттащил подальше от майны. Она полулежала на мокром льду, не в силах подняться на застывшие, ставшие чужими ноги. Старик суетился около, брал ее под мышки, но поднять не смог, а, охая, вздыхая, уговаривал:

— Вставай, слышь-ка, Лександра, застынешь. Пойдем в избу, задрогла, небось. Поднимайся, не сиди на холодном-то... И что это тебя понесло одну, остальные где же?

Шура молчала, да Афанасий и не чаял услышать ответные слова, а ласково ворчал единственно для того, чтоб успокоить, увести в тепло. Когда он, поддерживая под руки, наконец ввел ее в избу, от тепла ли, или от усталости, Шура вконец обессилела и осела у порога.

Ее долго тошнило, а потом началась рвота. Все ее тело, мокрое и холодное, содрогалось.

Раздев и уложив Шуру в постель, Афанасий поставил на раскаленную плиту чайник и вышел из горенки встречать доярок, чтоб, не дай бог, не влетели в готовую майну. Говорил же поутру, чтоб против избы переходили, так нет, понесло ее низовьем, где река летом суводна, а зимой — полыньиста.

Солнце ушло под закрой, заненастило: снежная крупка больно секла лицо. Афанасий зашел с подветренной стороны избы, привалился к заваленку и тут дождался доярок. Они не забыли стариковых слов, прошли по давешней тропке и одна за другой поднялись на яр.

Афанасий вышел из укрытия, спросил зло:

— Шуру пошто одну отпустили?

Женщины, чуя недоброе, притихли, столпились.

— В избе она.. было утопла.

Заохали доярки, запричитали и всей ватагой ввалились в избу. Афанасий замешкался, чтоб не слышать пустых слов и бабий скулеж. Набрал охапку дров и только после этого зашел следом.

Шурины товарки затихли при появлении Афанасия, но долго молчать они не были приучены, а потому загалдели снова:

— Лежи, знай, куда тебе...

— И не думай двигаться. Зайдем сейчас, протопим печь... Ничего с твоей хороминой не приключится.

— Бабоньки, возьмем ее фуфайку и пущай лежит. Чё тут словами попусту сорить!?

Пока они галдели, Афанасий заварил чай вперемежку с сухим ежевичным листом. Изба наполнилась кисловатым ягодным духом.

Ближе к полуночи Шура впала в горячку, говорила в бреду непонятное. Афанасий подошел к изголовью постели, положил ладонь на ее лоб и покачал кудластой головой: не иначе как огневица началась. Щеки больной порозовели, и дышала она тяжело, с присвистом, лежала, разметав руки.

В невнятном потоке слов и приглушенных вскриков Афанасий уловил имя Володьки и свое, и немало подивился, что Шура и в беспамятстве обращается к нему. Но короткая радость тут же сменилась горестью: вряд ли добрым словом она вспоминает его.

Но и горевание быстро прошло, потому как все мысли старика были о ней, своей первой жене, о ее хворобе.

Припоминалось давнее, безвозвратно ушедшее:

ватага на «Зеленой», по-южному непроглядные ночи, тусклые тоневые огни вдоль берега. Шура в ловецких бахилах, в брезентовой куртке и неизменной зюйдвестке, которую она почти не снимала с головы — смолоду была простудлива. Чуть свежак прихватит али бахилы дадут течь, сразу же огнем горит. Это в молодые-то годы. А в стужу попасть в ледяную воду, да в нынешние ее лета — тут не то что воспаление схватишь, а и концы отдашь.

Долгим взглядом с тревогой Афанасий посмотрел на Шуру и почуял жжение в груди: ужели она, самый наиблизкий для него человек, может вот так просто умереть, не сказав ему напоследок ни единого доброго словца; и будет на нем до последнего часа тяжестью висеть вина за все, что случилось промеж ними. О том, что она может помириться, сойтись и дожить последние годы под одной крышей, Афанасий и не помышлял. Лишь бы сняла с души грех.

Шура застонала, разлепила глаза и прошептала:

— Воды...

Афанасий нацедил из чайника наваристый теплый чай, приподнял рукой Шурину голову и поднес кружку к запеклым губам.

Говорят: больная жена мужу не мила. А вот он, Афанасий, с великим радованием ухаживал бы за Шурой, только согласись она остаться с ним. Каждое ее желание исполнял бы, с полуслова, со взгляда понимал бы ее.

Ах, Шура, Шура. Вот лежит она перед ним в боли, а ему мнится, будто его тело горит, его голова раскалывается, его губы запеклись, а во рту жарынь-пекло.

Но и радостно ему оттого, что наконец-то судьба так нечаянно свела его с Шурой. Может, это и жестоко, но Афанасий в душе благодарен случаю.

Утро нового дня старик начал не по заведенному порядку, совсем забыл о Сивом, а когда тот, заслышав хозяйские шаги, заржал, Афанасий лишь отмахнулся и проворчал:

— Обожди, Сивко, не до тебя, тут тако дело...

И засеменил в сельцо за врачихой. Дорогу ночью запорошило снежком. Местами навеяло сугробы. Разгребая кирзовыми сапогами свежую наметь, Афанасий торопился, чтоб застать докторшу дома. В этой торопливости он и не сообразил, что надо бы запречь Сивого в сани, а не топать пешим.

На полпути ему повстречались доярки, заверещали наперебой, стали расспрашивать о Шуре. Афанасий и от них отмахнулся.

— Чё галаните? Наведайтесь, посмотрите,— и пошагал дальше.

Шуре к приходу врачихи вроде бы полегчало. Она была в памяти, сама дотягивалась до стакана с водой, но тело по-прежнему дышало жаром. Докторица, соседка Шуры, собралась не медля ни минуты, едва узнала о беде. А войдя в Афанасеву избу, заговорила как с близким человеком:

— Ты что же это, Александра Марковна, расхворалась? Где болит-то?

Она долго выстукивала больной грудь и спину, прослушивала сердце и легкие, ставила градусник, щупала пульс.

— Сейчас мы температурку собьем. Уколем разок пенициллином, а вечерком еще наведаюсь.

— Домой бы мне,— прошептала Шура,— разве находишься в даль этакую!

— Вот это, Александра Марковна, совсем невозможно. Полнейший покой, никакого движения. А насчет меня не беспокойся. Пешком не дойду, так на машине доставят.

После ухода врачихи Афанасий поставил на табурет у кровати кружку свежей окуневой ушицы и, чтоб не смущать и не огорчать Шуру своим присутствием, вышел. Надо было напоить Сивого, заложить в ясли сенца и почистить баз.

Проходя мимо собачьей конуры, сунул Трезвому ломоть пшеничного подового хлеба, похвалил:

— Умница, смикитил. Без тебя Шуре бы крышка.

Трезвый, роняя слюну, прикусил лакомно пахнущий срезок хлеба и лениво затрусил за избу, на солнцепек. А старик занялся меринком.

Под вечер он запряг Сивка в сани-розвальни и подался в сельцо за докторицей: чтоб сделала больной еще один укол. В морозном безветрии сверху крупными хлопьями падал пушной снег. Сивый лениво переступал ногами. Шагáла он уже был неважный, и Афанасий не понуждал его к спешному ходу.

Старик отвез врачиху обратно потемну, а когда вернулся, Шура спала неглубоким, будким сном: постанывала, ворочалась. Чтоб не мешать ей, он остался на стряпной половине, присел у окна и, не зажигая лампы, затих, полный дум и воспоминаний. Конечно же, и думы эти и все воспоминания, порой приятные, а чаще горестные, были связаны с Шурой. Но главным образом в памяти всплывала та ночь, когда он заявился к Панкрату. Кум был из своих, сельских, прошел в городе какие-то краткосрочные курсы и фельдшерил чуть ли не два десятка лет. Когда у Афанасия и Шуры народился Володька, они покумились с Панкратом и его женой.

Панкрат на селе пользовался авторитетом, потому что в те годы, когда после курсов вернулся домой, был он единственным специалистом.

Афанасий ценил дружбу и кумовство с ним. И до той проклятой ночи жил с кумом душа в душу.

А потом не было на белом свете человека, которого Афанасий так возненавидел бы. Лютая ненависть к Панкрату угнездилась в его сердце, живет она там и поныне, хотя кума давно уже отнесли на сельский погост.

Так вот, заявился Афанасий к Панкрату и сказал:

— Шуру, кум, спытать надо.

Панкрат не понял, в каком смысле куманек его дорогой решил испытать жену, а потому с улыбкой спросил:

— Это как понимать?

— Гуляет она будто, ну и...— Афанасий замялся.

— Ты чего надумал, Афанасий?

— Сходил бы... попытал ее, а? — набравшись духу, высказал он беспутную свою просьбу.

— Ты в своем уме? Дай-ка я тебе градусник поставлю.

— Не балани, кум. До шуток ли мне...— осерчал Афанасий.

— Ты серьезно? — изумился Панкрат, сообразив наконец, что с ним не шутят и что от него хотят. Он в крайнем удивлении посмотрел на своего дружка и осевшим голосом сказал: — Или прекрати, или убирайся...

Афанасий понял, что с кумом кашу не сваришь, да и засомневался в своем поступке, а потому предложил:

— Ладно, кум. Давай-ка стаканы.

— Во, это другой разговор,— обрадованно засуетился хозяин дома.— Сей же час мы организуем что-то закусить.

Организовали. Выпили. Закусили. Снова выпили.

Когда употребили по третьей и хмель ударил в голову, Панкрат усмехнулся, покачал головой и спросил:

— Как же ты, кум, надумал такое, а?

— Не могу больше, Панкрат. Сходи...

— Не дело, кум, затеял. Надо же учудить такое: к своей бабе чужого мужика подсылать. Ну а если, к примеру, не сдержусь...

Афанасий дико вскинул на него пьяные глаза, было уже раскрыл рот, чтоб матюкнуться, но сдержался.

— Я те, кум, ровно себе самому доверяю. Друг ты мне или не друг?

Дальше — больше. Осушили кумовья литровую бутылку, затуманили головы. А известно: вино вину творит. Еще и так говорят: пьяному море по колено.

Кончилось тем, что Афанасий остался в Панкратовой избе, а Панкрат пошел куму пытать.

Его не было долго. Афанасий затравленным волком метался по горнице; не выдержав, выскочил за калитку, спугнул на улице какую-то женщину. Та, ойкнув, бросилась прочь, а он заматерился и вернулся в Панкратову избу, нашел в буфете распечатанную бутылку водки, до краев наполнил граненый стакан и единым духом осушил его.

Панкрат вернулся близко к полуночи. Он вошел в горницу и отвел глаза от кума, чем сразу же насторожил его. Заглядывая Панкрату в лицо, Афанасий ждал тех нескольких слов, которые сейчас должны были решить все.

— Ну?

— Чего — ну? — вскинулся Панкрат. — Спытать вздумал, черт мордастый. Шура... святая!

— Врешь! — Афанасий грохнул кулаком о стол. Зазвенели стаканы, заплескалось в початой бутылке.

Панкрат налил в стакан водки, молча выпил.

— Ты чё пристал?

— Скажи... было что, а?

— Было... Эх, таку бабу потерял! — Панкрат зло сплюнул на пол и пошел в спаленку.

Завихрилось в пьяной Афанасьевой голове, а слова кумовы вошли внутрь отравой. И уж не мог сдержать себя он, оттолкнул от себя стол и хлопнул дверью.

Натыкаясь в темени на кочкастые травы, он пехом топал к низовой излучине реки, где у молодого ветлянника одиноко дожидалась его ловецкая бударка.

А вскорости по сходной цене он приобрел хуторок, ушел из дому.

Из передней послышался затяжной кашель. Афанасий очнулся от тягостных воспоминаний, но, как всегда, эти воспоминания настолько взбудоражили его, что он был не в силах оставаться в избе и вышел во двор, в сердцах взялся за топор и при рассеянном бледном свете луны начал мельчить на полешки одну жердину за другой. Поостыв малость, он худо укорил себя: видать, собачьего нрава ничем не изменишь, и пошел проведать Шуру.

Она лежала на боку, спиной к стене и молча наблюдала, как Афанасий запалил керосиновую лампу. Затем он залил в самовар воды, разжег в жаровне огонь и приладил прогоревшую местами трубу в печную отдушину. И только после того, как сделал все необходимое, вошел в переднюю и подсел у изножья кровати.

— Полегчало?

— Колотье в груди не проходит.

— Отлежишься и пройдет.

— Болезни дашь воли, так помереть недолго.

— Оно, конечно... Но и спешить — тоже ущерб здоровью. Лежи.

Так они переговаривались некоторое время. Шура

из-под прикрытых век смотрела в лицо Афанасию, а он, чувствуя ее взгляд, блуждал глазами по горнице, не в силах задержать взор на ней.

— Бирюком живешь, Афанасий.— Жалость проскользнула в ее голосе, и она отвела от него глаза.

— Приходится. Что тут поделаешь? — вздохнул Афанасий.

— Продал бы хутор-то. Натуська, зазнобушка твоя, в район уезжает, замуж выскочила. Купи ее землянку, хватит тебе одному-то...

— Обойдусь. Видно, тут я и помирать буду,— он по-стариковски тяжело поднялся и, ссутулившись, ушел из горенки.

Пока случай не свел их, Шура как-то не задумывалась, что Афанасий уже совсем старик, а по домашности ему все приходится делать самому.

На ногах-то еще полбеды. А вдруг сляжет, а то и совсем обезножит? Мать его полтора года плашмя лежала — ноги отказали. Ну как и Афанасий в нее?

Впервые за многие годы в сердце уже немолодой женщины пробудилась жалость к бывшему мужу. Но жалость эта недолго владела ею, ибо и у Шуры жизнь сложилась не легче. Одна как перст, без помощи мужа, воспитала Володьку, а потом и его не стало. Всю мужскую работу по хозяйству на себе вынесла.

Сватали ее не раз, и первым предложение сделал овдовевший вскорости после того случая Панкрат. Отказала ему Шура. И не потому, что он не нравился ей. Панкрат — мужик видный. Коль уж честно говорить — красивей Афанасия, да и при должности...

В молодые годы Шура, бывало, заглядывалась на него. Но отказала. Самой хотелось сына поставить на ноги, а после Володькиной смерти горе не позволило. Так вот неприглядно и минула жизнь.

А все Афанасий виною. Надо же учудить такое. Она вначале и не сообразила, что нужно Панкрату в столь поздний час. И немало удивилась, когда он, пьяно улыбаясь, попытался обнять ее.

— Ты чего, кум?

— Ку́ма кума́ свела с ума,— пьяно хохотнул он и сжал ее в объятьях.

— Не надо, кум,— попыталась она урезонить Панкрата.

Но Панкрат был уже в том состоянии, когда разумные слова не доходят до сознания.

— Уйди! — вскрикнула Шура.— Афанасию расскажу!

Правду говорят, что у хмельного рот нараспашку, а язык на плече.

— Чё ему говорить, он знает,— в возбуждении сказал Панкрат и, не сумев остановиться, выболтнул: — Афанасий меня прислал.

— Неправда, кум, он на лову.

— Хе, на лову,— усмехнулся он и, по-прежнему не выпуская Шуру, подталкивал ее к кровати.

Шура затихла, сжавшись в комок, но вдруг рванулась к двери. Обернувшись к опешившему Панкрату, сказала:

— Погоди, я сейчас...— И скрылась за дверью.

Панкрат кинулся было следом, но Шурины слова отстановили его. В них он услышал надежду, и тело его наполнилось сладостным ожиданием.

А Шура прибежала к Панкратовой избе и все пыталась заглянуть в щель ставни, когда из дома кто-то вышел и остановился у калитки. Шура сразу признала мужа и побежала прочь, но Афанасий не кинулся следом, он вернулся в Панкратову избу.

Все дальнейшее произошло как в бреду, помимо ее воли. У нее лишь была злость на мужа. И обида.

Оттого она и не прогнала Панкрата.

Спустя много-много лет, сейчас вот, по воле случая оказавшись на хуторе с глазу на глаз с бывшим своим мужем, Шура, прикинувшись спящей, подолгу наблюдала за ним — состарившимся, уже чужим, и все собиралась спросить его о том давнем, что пора бы уже и забыть и что никак вот не забывается и, видимо, не забудется до последнего часа, но так и не решилась спросить. К чему будоражить память и свою и его, одинокого, жестоко наказанного жизнью...

На исходе четвертого дня врачиха порадовала: выздоровление шло успешно. Шура почувствовала облегчение еще с утра, попросила:

— Отвез бы домой, Афанасий.

Старик помрачнел лицом и проворчал:

— Дозволят как, отвезу.

8

Наутро Афанасий отвез Шуру домой. Стояла солнечная натишь. Все вокруг — и поле, и лес, и река — искрилось от обилия снега.

Шура откинулась спиной к передку саней и озиралась по сторонам с тихой радостью: и мороз, и снег, и эта удивительная белизна вокруг были для нее неожиданны и рождали неуместное веселье.

Афанасий всю дорогу хмурился, не проронил ни слова. И Шура молчала. Лишь когда взвизг полозьев затих у ворот ее дома, она сказала:

— Зайдем, погреешься.

Он не возражал. Не раздеваясь, посидел малость в прихожей, погрелся. Шура сбросила с себя фуфайку и без особой настойчивости предложила:

— Раздевайся, самовар поставлю.

— Поеду,— Афанасий надвинул на голову ушан-

ку из заячьего меха и, прежде чем навсегда покинуть избу, попросил:

— Ты уж того... Лександра, не держи зла.

Шура вскинула на него тоскливые глаза.

— Ладно, Афанасий, чего там... Дело давнее. Какое уж зло... Иди.

Прошла с того дня неделя. Любую работу Афанасий исполнял безо всякого удовольствия, только потому, что ее нужно было исполнить. Даже подледный лов окуня на блесну, в прежние годы столь усладный и азартный, ныне не интересовал старика.

Когда отвез Шуру домой и уходил от нее, думал, что никогда больше до последнего своего часа не ступит его нога в ее дом. Но вот прошла неделя, и Афанасий стал подумывать, а не наведать ли ее? И хотя от доярок узнавал, что Шура поправляется и скоро выйдет на работу, он с каждым днем и часом укреплялся в мысли, что ему непременно надо навестить ее.

Исполнил бы он свое желание или нет, трудно сказать. Но тут случай такой приключился.

Однажды пробудился он ото сна еще затемно. Дожидаясь свету, лежа вспоминал сон: он будто молодой, только женился на Шуре. Но не тоня ему явилась во сне, а дорога меж сельцом и районным городком. Меринок тащит товаристый возок, крытый брезентом. А Шура на возу, улыбается, тянет к нему руки...

Поначалу Афанасию приятно было вспоминать сон, ту давнюю, молодую и радующуюся Шуру. Но потом подумалось, что и дорога и конь во сне — к несчастью, а то и к смерти. Так мать разгадывала сны.

И едва он так подумал, взвыл Трезвый, да так печально и тревожно, что у Афанасия занойкало серд-

це, и такая припала к нему тоска, что он не вынес бездельного лежания и, одевшись, вышел во двор.

Морянило. По реке мело снежную понизовку. У избы и базов навеяло ребристые сугробы.

Почуяв хозяина, Трезвый было стих, но, спустя короткое время, вновь завыл, протяжно и заунывно.

— Ну что ты? — обеспокоенно спросил Афанасий. Он еще не знал о постигшей беде, но тревога уже поселилась в его сердце. Подумал, что и сон, и этот вой — неспроста. Так оно и было.

В эту ночь пал Сивый.

Афанасий чуял близкий конец меринка: последние дни сено в яслях оставалось нетронутым.

Старик зарыл Сивого на краю низкодола, густо-зеленого в летнюю пору, а сейчас заснеженного и пустынного. И пока он в молчании исполнял эту скорбную работу, Трезвый — рослый сеттер-водолаз — сидел у могилки и скулил по-щенячьи.

— Так-то вот, ушан,— проговорил старик, поглаживая лопоухую голову Трезвого.— Нет теперь Сивка́, нет...

Всю следующую ночь он не сомкнул глаз.

Утром Афанасий пошел к Шуре — наведать ее, хоть часок посидеть у нее, поговорить.

Не прогонит же она его...

СОДЕРЖАНИЕ

АДИХАН ИЗМАЙЛОВИЧ ШАДРИН

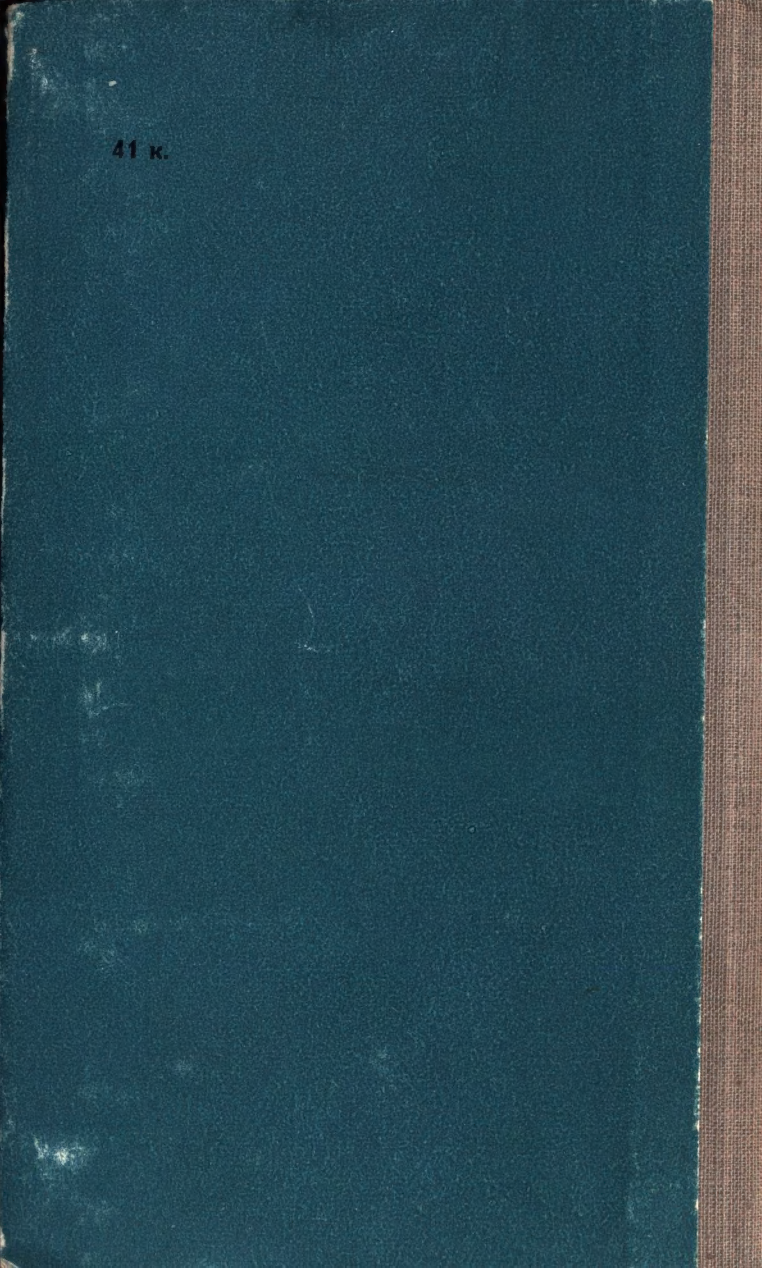
ЛИЗАВЕТА

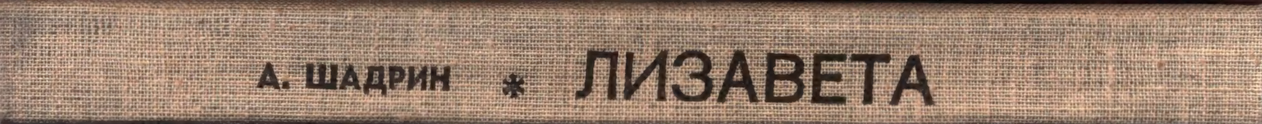
Редактор *В. И. Кононов*
Художник *В. Э. Коваль*
Худож. редактор *Е. И. Савельев*
Техн. редактор *А. Г. Илларионова*
Корректор *Е. С. Лепехина*

НМ 08658. Сдано в набор 28/I 1976 г. Подписано к печати 17/VI 1976 г. Бумага тип. № 2. Формат $70 \times 84^1/_{32}$. Печ. л. физ. 8. Печ. л. усл. 8,72. Уч.-изд. л. 10,44. Тираж 30 000. Заказ № 56. Цена 41 коп.

Нижне-Волжское книжное издательство
Волгоград, ул. Невская, 6

Типография издательства «Волгоградская правда».
Волгоград, Привокзальная площадь.


41 к.


А. ШАДРИН * ЛИЗАВЕТА